



РУССКАЯ СЕМЕЙНАЯ  
САГА



ЕЛЕНА АРСЕНЬЕВА

Последнее лето

Русская семейная сага

Елена Арсеньева

**Последнее лето**

«Автор»

2007

## **Арсеньева Е. А.**

Последнее лето / Е. А. Арсеньева — «Автор», 2007 — (Русская семейная сага)

ISBN 5-699-18761-8

Начало XX века. Тихий город Энск на Волге. В дружной семье адвоката Константина Русанова не так уж все, оказывается, мило и спокойно. Вот-вот будет раскрыта тайна, которую уважаемый господин тщательно скрывал: сбежавшая от него жена жива, а не умерла, как он всю жизнь уверял детей и общество. К тому же, в город приехала сестра его супруги, когда-то также влюбленная в красавца Константина. Любовница требует немедленно обвенчаться – но Русанов этого сделать не может... Да, страсти кипят. А на пороге – август 1914 года. Скоро жизнь взорвется, и судьбы людей сплетутся в огненных вихрях первой мировой войны. Впереди еще столько событий... Но о них знаем мы, живущие в веке двадцать первом, и совершенно не имеют понятия наши прабабушки и прадедушки, герои «Русской семейной саги»...

ISBN 5-699-18761-8

© Арсеньева Е. А., 2007

© Автор, 2007

# Содержание

От автора	5
Пролог	6
1914 год	10
Конец ознакомительного фрагмента.	67

# Елена Арсеньева

## Последнее лето

*Где-то, когда-то, давным-давно тому назад...*

*И. Тургенев*

### От автора

Иногда на улице я смотрю в лица встречаемых – и не могу удержаться от улыбки, которая, быть может, кажется им странной, загадочной. Ничего загадочного на самом деле нет – просто для меня лицо каждого моего современника состоит из множества лиц его предков.

Знает ли о них кто-нибудь, кроме меня, любительницы дышать пылью веков? И хочет ли знать? Помнит ли кто-нибудь о них? И хочет ли помнить? Несет нас ветер перемен, некогда оборачиваться!

Но я – обернулась. Попыталась присмотреться к смещению событий, которое называется историей. Боже мой! Оказывается, история – это никакие не события. Это судьбы. Судьбы людей, их семей. И только потом – страны. И вообще, отношения между государствами – это всего-навсего декорации, на фоне которых разворачивается великое действие жизни. Беда только в том, что иногда декорации падают и погребают под собой актеров.

Вот, скажем, живет себе в России семья... Как зовут членов этой семьи? Ну, скажем, Александр, Александра, Константин, Дмитрий, Марина... Назовите их как угодно! Какова их фамилия? Да какая разница, выбирайте любую: Русановы, Васильевы, Савельевы, Смольниковы, Аксаковы, Аверьяновы... Каждый день у них горе, счастье, страх, радость, отчаяние, обиды, примирения, благословения, проклятия, тайны, преступления... Довлеет дневи злоба его! Всякая мелочь кажется им судьбоносной, всякая слеза – рекой, всякая улыбка – солнцем. И вдруг однажды июльским днем 1914 года обрушивается на них декорация под названием «Первая мировая война» – и всё, и разлетелись в прах мечты, забыты прежние ссоры, любовь оборачивается ненавистью, жизнь – смертью. Заросли торные дороги, обветшали дворцы, а сквозь крыши храмов проросли деревья. А декорации, раз начавши, по-прежнему падают, громоздятся одна на другую: «Революция», «Гражданская война», «Эмиграция», «Строительство Советской России», «Аресты и лагеря», «Вторая мировая», «Жизнь после войны»... Они вынуждают героев-любовников, примадонн, резонеров, субреток, трагистов, ведущих актеров, статистов, рабочих сцены, гримеров и даже режиссеров и драматургов играть совсем другие роли, чем в начале спектакля, забыть свои амплу, поменяться костюмами, а то и вовсе скрыть черты свои под звериными масками, которые порой уже не сорвать – так накрепко пристают они к коже.

Я смотрю на их суету и мельтешение почти с ужасом, ищу для них оправдания и обвинения, нахожу и забываю, я плачу их слезами, смеюсь их смехом, пою их песни, я запоминаю имена их детей. И в конце концов я подхожу к зеркалу – и вижу не свое лицо, а множество других, а если я хочу сказать слово, звучат плач, и выстрелы, и смех, и лозунги, и бред предсмертный, и любовный стон... И не отличить благословение от проклятия.

Я не знаю, когда и чем это кончится. Зато я знаю, где и когда это началось: где-то, когда-то, давным-давно тому назад.

В саду моего детства росли золотые яблоки.

*И. Рукавишников*

## Пролог Июль 1904 года

...На стене, оклеенной старыми-престарыми, бледными обоями в какой-то ситцевый, почти неразличимый цветочек – может, незабудки там изображены, может, васильки, а может, и вовсе розы, никак не понять, – два портрета. Портреты писаны недолговечной пастелью, а значит, тоже должны были давным-давно выцвести или осыпаться, однако их в свое время остеклили и взяли в рамку, потому они сохранились живыми и веселыми. В первую минуту кажется, будто художник написал одно и то же лицо, одну и ту же барышню с ясными серыми глазами, вздернутым носиком и буйно вьющимися темно-русыми кудрями, рассыпанными по круглым, аппетитным плечикам, красиво выступающим из кружева скромно декольтированного розового бального платья. Написал, значит, он одну барышню, только на первом портрете заставил ее чуть повернуть голову влево, а на другом – вправо.

А зачем художник это сделал, никто не знает...

Когда детей первый раз привезли в Доримедонтово, в старый дом, они почему-то сразу, минуя все другие комнаты, поднялись в светелку и стали перед этими портретами. Отец и тетка за их спинами быстро переглянулись. Отец, Константин Анатольевич Русанов, раздраженно дернул углом рта: он вообще был против этой поездки и сейчас понял, что не зря. Как чувствовал, ну как чувствовал! До чего же это в духе растяпы Олимпиады – забыть о старых портретах! Она никогда не думает о последствиях!

Мысль о том, что сам он тоже о портретах позабыл, Русанов из головы прогнал как лишнюю и ненужную. Он вообще терпеть не мог думать о своих ошибках.

Растяпа же Олимпиада, вернее, Олимпиада Николаевна Понизовская, *belle-soeur*<sup>1</sup> Русанова-старшего и тетушка Русановых-младших, никакой своей вины ни в чем не видела, молчаливого раздражения своего *beau-frère*<sup>2</sup> не замечала, а думала сейчас о том, что голос крови ничем не заглушишь. И нет ничего тайного, что не стало бы явным!

– Тетя Оля, это ты сто лет назад? – спросила семилетняя Сашенька, глядя на одинаковых барышень в розовых платьях, а Шурка, даром что был на два года моложе, а значит, глупее сестры, толстым голосом перебил:

– Это не тетя Оля. Тетя Оля сто лет назад не жила. Она еще молодая!

Тетя Оля (имя Олимпиада детям было не выговорить, Липой или Лимой тетушка зваться наотрез отказалась, потому и стала Олей, которой в описываемое время сравнялось тридцать пять) умиленно чмокнула Шурку в макушку и промокнула платочком немедленно увлажнившиеся глаза (она вообще была дама чувствительная, а потому платочек, крошечный, батистовый, собственноручно расшитый *broderie d'anglaise*<sup>3</sup>, всегда держала наготове):

– В самом деле, это не я, а...

– Шурка, смотри! – перебила Сашенька. – Да ведь здесь не одна барышня нарисована, а две. Две разные!

– Не две, а одна, – не согласился Шурка. – Там платье розовое и тут розовое. Значит, одна.

– Много ты понимаешь в платьях! – презрительно сказала Сашенька. – Платья одинаковые, а глаза разные. Ты посмотри, посмотри! Вот у этой барышни, – она указала на портрет,

---

<sup>1</sup> Свояченица (*франц.*).

<sup>2</sup> Деверя (*франц.*).

<sup>3</sup> Английским узором (*франц.*).

смотревший вправо, – глаза просто серые, совсем как у меня. А у другой один глаз серый, а второй карий. Посмотри внимательно!

Тетя Оля слегка вздрогнула и покосилась на Русанова.

– Разных глаз не бывает, – буркнул толстый и упрямый Шурка, наклоня лобастую, бело-брысую, курчавую голову.

– Может, и не бывает, но барышни разные. Правда, тетя?

Русанов предостерегающе кашлянул.

Олимпиада бросила на него быстрый взгляд и ласково склонилась к племяннице:

– И глаза разные, и барышни тоже разные.

Русанов что-то недовольно прошипел.

– Это одна барышня! – не унимался Шурик.

– Две, мое солнышко. – Тетя Оля снова чмокнула его в макушку. – Две, просто они очень похожи друг на друга.

– А почему они так похожи? – спросила Сашенька. – Они близнецы, да? Как дочки у Матрены?

– У какой еще Матрены? – изумилась тетя Олимпиада.

– Ну, у Матрены, у прачки, к которой наша Даня белье носит. У нее теперь дочки, две одинаковые дочки, неделю назад родились, но они еще не умеют ходить. И Матрена тоже не ходит, она все время в постели лежит.

– А ты откуда знаешь? – изумился теперь Русанов.

– Я сама видела, – гордо сообщила Сашенька. – Когда Даня белье в стирку последний раз носила, я с ней пошла. Нас из гимназии пораньше отпустили, вас с тетей дома не было, вот меня Даня и взяла с собой. Ой, у Матрены такая плохая кровать! Не понимаю, как на ней можно лежать?! А она все время лежит, ей вставать нельзя.

– Черт знает что! – проворчал Русанов.

Олимпиада чуть нахмурилась: она считала, что обсуждать прислугу при детях – моветон. Однако ее beau-frère не унимался:

– Если Матрена все время лежит на своей плохой кровати, то кто стирает наше белье?

– Матренин муж, – радостно сообщила Сашенька.

– Боже! – драматически воскликнул Русанов. – Нет, в моем доме творится невесть что!

– Почему в твоём доме? – удивилась Сашенька. – Ведь Матренин муж стирает белье в своём доме, а не в твоём.

Русанов только возвел очи горе, но ничего не сказал и пошел было вон из светелки, однако Сашеньку не так-то легко было уgomонить:

– Подожди, папа! Куда ты? Тетя Оля нам еще не сказала, кто эти барышни!

– J'en ai assez, – резко обернувшись, сказал Русанов. – Ne dites rien! Inventez quelque chose!

– Il est enfin temps de finir avec tous ces sous-entendus

<sup>4</sup>, – пробормотала тетя Оля.

– Вы сами говорили, что... – начала было Сашенька.

Она хотела сказать: «Вы сами говорили, что неприлично разговаривать на иностранном языке, если его кто-то не понимает. Шурка точно не понимает по-французски, а я только некоторые слова!» – но ее никто не услышал: реплики отца и тетки следовали так стремительно, что теперь Сашенька даже отдельных слов не могла понять.

– On peut penser que vous avez manigancé cette visite, ces portraits.

– Ne dites pas de bêtises, Constantin. Vous savez parfaitement qu'ils étaient là depuis dix dernières années. Quant à tout le reste... Tôt ou tard cette question devra être évoquée. Le plus vous

---

<sup>4</sup> – С меня довольно! Ничего не говорите! Придумайте что-нибудь! – Пора, наконец, покончить с этими недомолвками (франц.).

cachez des enfants, le plus ils seront intéressés par ça. Je suis d'avis qu'il faut tout leur dire, une fois pour toutes.

– Vous êtes devenue folle, Olympiade! Qu'est ce que ça veut dire – «tout dire»?

– Ne vous inquiétez pas, je ne veux pas dire complètement *tout*. Pourtant ils doivent apprendre sur Lydia et sur...

– N'osez pas!

– Calmez-vous. Vous m'avez confié l'éducation des enfants que vous aviez souhaités vous-même faire orphelins, donc maintenant supportez. Et ne vous inquiétez pas: je ne suis pas si conne que vous le pensez. Je ne dirai rien de *trop*

<sup>5</sup>

– А кто такая Лидия? – задумчиво спросила Сашенька. Значит, кое-что она все-таки поняла...

– Лидия, – не глядя на Русанова, решительно выговорила Олимпиада, – это барышня, которая смотрит налево.

– С разными глазами?

– Совершенно верно.

– А как зовут другую барышню, у которой глаза одинаковые? Которая смотрит направо?

– Ее зовут Эвелина.

– Эвелина? – Сашенька захлопала своими длинными ресницами. – Но ведь так зовут нашу мамочку. Это наша мамочка, да?!

– Да, это она.

– Мамочку Бог взял на небо, – сообщил Шурик отцу, который смотрел на своих детей со странным выражением. Это выражение можно было бы назвать затравленным, если бы дети знали такое слово. Его знала Олимпиада, однако она в тот момент не смотрела на Русанова.

– Да, вашу мамочку Бог взял на небо, а Лидия... – начала было Олимпиада, однако Русанов быстро перебил ее:

– И Лидию он тоже взял на небо! И ваша мать, и ее сестра – они обе умерли несколько лет назад.

И он небрежно, размахисто перекрестился. Дети перекрестились так же небрежно – не потому, что были атеистами и нигилистами, подобно своему отцу, а просто потому, что сейчас их мысли были заняты совершенно другим.

– А почему здесь висят эти портреты? – допытывалась Сашенька, от которой трудно было отвязаться.

– Потому что когда-то, давным-давно, они, то есть сестры, здесь жили, – буркнул отец. – Все, хватит болтать, здесь сквозит, пошли вниз, там, наверное, уже самовар поспел.

– Как – жили? – не отставала Сашенька. – Но ведь это дом тети Оли, вы сами говорили. Ты что, тетя, жила здесь вместе с барышнями?

– Ну конечно, – улыбнулась тетушка. – Мы все жили здесь. Ведь Лидуся и Эвочка были моими сестрами. Ну, ну, Шурик! Не делай такие большие глаза, а то выскочат и убегут куда-нибудь. Чему ты так удивился? Разве ты не знал, что я и твоя покойная матушка – родные сестры?

---

<sup>5</sup> – Можно подумать, вы это нарочно подстроили – этот визит, эти портреты. – Не говорите глупостей, Константин. Вы прекрасно знаете, что они тут висели последние десять лет. Что касается всего остального... Рано или поздно этот вопрос должен был возникнуть. Чем больше вы от детей скрываете, тем больше они будут интересоваться. Я за то, чтобы все им сказать раз и навсегда. – Вы с ума сошли, Олимпиада! Что это значит – «все сказать»?! – Да не беспокойтесь, я вовсе не имею в виду – вообще *всё*. Однако они должны узнать и про Лидию, и про... – Не смейте! – Успокойтесь. Вы мне доверили воспитание детей, которых сами пожелали сделать сиротами, так что теперь терпите, понятно? И не волнуйтесь: я не такая дура, как вам кажется. Ничего *лишнего* я не скажу (*франц.*).

– Знал, – прохныкал Шурка, у которого глаза вдруг стали на мокром месте – как всегда при разговорах о матери, которой он не помнил совершенно и которую знал лишь по нескольким, весьма немногочисленным фото.

– Да, про тебя и маму мы знали, – кивнула Сашенька, которая хоть и не заплакала, но тоже погрузилась (она очень смутно помнила мать, которой лишилась в возрасте четырех лет). – Но мы не знали, что вас, сестер, было трое, а значит, у нас есть еще одна тетя – Лидия...

– Ты разве оглохла? – с неожиданной резкостью перебил отец. – Тебе же сказали, что Лидия умерла! Значит, у вас нет никакой другой тети, кроме Олимпиады Николаевны. Никого больше нет, понятно?!

И он шумно, с размаху впечатав дверь в стену, пошел из светелки.

Олимпиада с тайной грустью взглянула в его узкую, очень прямую спину, обтянутую белым чесучовым пиджаком, на плечах которого с некоторых пор постоянно виднелись жесткие темные волоски (Русанов внезапно начал лысеть и очень по этому поводу переживал), и протяжно вздохнула, как вздыхала она при виде Константина Анатольевича Русанова последние восемь лет своей жизни. Тогда, восемь лет назад, они начали вздыхать по нему одновременно, все три сестры Понизовские: старшая, Олимпиада, и младшие – близняшки Эвелина и Лидия. Ну и к чему привели эти вздохи? Ни Эвелины, ни Лидии... осталась одна Олимпиада, и она рядом с Русановым – почти так же все сложилось, как мечталось когда-то до утра вот в этой самой девичьей светелке, где она сейчас стоит. Почти так, но не совсем. Ведь она не жена ему – только приживалка в его доме, воспитательница его детей, можно сказать, нянька...

Да-да, бесплатная нянька!

Ну и ладно. Могло быть и хуже, гораздо хуже.

Олимпиада тряхнула головой, отгоняя докучные мысли.

Пожалуй, Константин Анатольевич совершенно прав: портреты надо отсюда убрать. Если дети не будут их видеть, они забудут и Лидусю, и Эвочку. И не станут задавать ненужных вопросов. В самом деле, рано, рано им еще знать ту старую, такую печальную историю. Может быть, потом, через год или два, или даже через пять, она как-нибудь сама собой расскажется?..

И Олимпиада Николаевна, склонившись и приобняв племянников за плечи, повела их вниз, в столовую.

История и в самом деле *расскажется* – спустя много лет, но отнюдь не сама собой!

## 1914 год

«Высочайшее указание  
Правительствующему Сенату  
Нашему статс-секретарю, члену Государственного совета,  
действительному тайному советнику Горемыкину всемилостивейше  
повелеваем быть председателем совета министров с оставлением статс-  
секретарем, членом Государственного совета и сенатором.

На подлинном собственной Его Императорского Величества рукой  
написано – НИКОЛАЙ.

Дано в Царском Селе января 30 дня 1914 года».

«Главный инспектор Восточной Сибири Василенко не разрешил артисту  
Соловьеву прочитать на публичном вечере, устроенном в пользу гимназисток  
частной гимназии, чеховский рассказ «Разговор человека с собакой».  
Характерно, что рассказ не разрешен к прочтению только потому, что в нем  
пьяный герой называет собаку «социалистом».

«Русское слово»

«В Тифлисе сообщено о находке в одной из церквей Нахичевани  
(Эриванской губернии) картины кисти Леонардо да Винчи. Она привезена,  
вероятно, иностранными католическими миссионерами во времена шаха  
Аббаса. Картина изображает рождение Спасителя в Вифлеемской пещере».

Санкт-Петербургское телеграфное агентство

### **«Докладная записка из Московского охранного отделения в Энское охранное отделение**

Ваше высокоблагородие! Начальник Центрального охранного отделения  
подполковник фон Котен приказал мне доложить вашему высокоблагородию  
следующие, полученные из серьезного агентурного источника сведения,  
касающиеся произведения крупных террористических актов в городах  
Центральной России, в частности в Энске.

Согласно нашим данным, в Энске намечено покушение на одного  
из высших чинов городской власти. Под угрозой может оказаться жизнь  
г. губернатора Борзенко, г. вице-губернатора Бочарова, г. полицмейстера  
Комендантова, начальника сыскного отдела Энской полиции Смольникова,  
вашего высокоблагородия, а возможно, и других ответственных лиц.

Мысль об этом встречена в Центральном комитете партии социалистов-  
революционеров сочувственно, высказывались предложения о необходимости  
террористического акта. Относительно кандидатуры мнения разошлись.

Хотя этот проект находится пока в области одних предположений, тем не  
менее предлагаю вашему высокоблагородию обратить на него особое внимание  
агентуры по социалистам-революционерам и принять, буде потребуется, меры  
наружной охраны вышеназванных лиц.

Также стало достоверно известно о провале трех крупных «эсков»,  
осуществляемых силами боевых групп социалистов-революционеров. С  
1908 года, после ограбления Международного торгового банка в г.  
Ефремове, эсерам не удалось провести ни одного крупного «экса».

Возможно, одновременно с покушениями на жизнь высокопоставленных чиновников Энска в этом же городе будут осуществлены попытки грабежа местного отделения Международного банка, как наиболее крупного и сосредоточившего в своих руках наиболее значительный капитал. Награбленные деньги социалисты-революционеры намерены употребить на освобождение арестованных.

Вообще социалисты-революционеры наметили самое широкое развитие террористических актов и грабежей».

\* \* \*

Кассир банка очень напоминал господина Простакова – в том смысле, что *от робости запинался* на каждом слове.

– То есть вы-с, ваше сияте... превосходи... ваше...ство-с... – От почтительности кассир запутался в титулах и сделался совершенно косноязычен, – вы желаете-с собственлично соблюдать... то есть собственноручно наблюдать решили-с... ваше вели...

Осознав, что ляпнул совсем уж несусветное, кассир вовсе онемел и принялся в замешательстве терзать белоснежные манжеты, видневшиеся из рукавов пиджака. Поскольку под пиджаком на кассире была надета не сорочка, а только пластрон, то манжеты крепились к нему на резинке, и резинка эта чуть слышно шелкала, когда кассир ожесточенно дергал ее. К тому же она ослабела, и манжеты высовывались не на один палец, как того требовали приличия, а на два и даже на три. При этом было видно, что они отнюдь не матерчатые и не крахмальные, а самые дешевые, целлулоидные, с отчетливыми следами подчисток: хозяин, видимо, был не весьма аккуратен и не мыл манжеты в теплой воде, как следовало по инструкции, а наскоро стирал грязь обыкновенным конторским ластиком. Таковым же целлулоидным, подчищенным был и беленький воротничок.

Госпожа Шатилова от этих наивных гимназических подчисток глаз не могла отвести. Еле находила силы сдержаться и не расхохотаться. Боже, вот провинция этот Энск! Вот дыра! Как Никите хватает силы говорить спокойно, не раздражаясь смехом в лицо этому нелепому кассиру с его замешательством, его дешевыми манжетами, его розовыми пухлыми щечками и испуганно бегающими глазками?! Этими глазками, щечками и белесым пробором, сквозящим сквозь тусклые, тщательно расчесанные, набриолиненные волосы, кассир очень сильно напоминал госпоже Шатиловой молочного поросеночка. И выражение лица у него было такое же неживое, как у поросенка, лежащего на столе кухарки и уже готового быть насаженным на вертел. Кажется, кассир от страха сейчас в обморок грянется. Тогда госпожа Шатилова уж точно не сможет с собой совладать – захохочет во все горло!

– Я никакого не превосходительство и уж тем паче – не величество, – проговорил между тем ее муж. – Для заводских управляющих титулов покуда не выдумано, а я ведь самый что ни на есть обыкновеннейший управляющий заводом «Сормово». Прибыл поглядеть, как будут деньги на жалованье моим рабочим и служащим отправлять. Фамилия моя Шатилов, зовут Никитой, по батюшке я Ильич. А вас как величать, сударь мой?

Он смотрел на кассира весьма приветливо, даже, можно сказать, с некоей демократической развязностью, однако, вместо того чтобы приободриться, тот стушевался окончательно и только шевелил губами, не в силах слова вымолвить. При этом он так пялился на нового сормовского управляющего, что глазки его выпучились из орбит, и госпожа Шатилова подумала, что теперь кассир весьма напоминает не поросенка, а большого снулого карпа – зеркального карпа, опять же лежащего на кухаркином столе.

А вот интересно, отчего это у нее исключительно гастрономические мысли на ум идут? Вроде бы и не голодна... хотя не мешало бы выпить кофе с каким-нибудь эклером или пти-фуром. Скорей бы муж дела закончил, нужно будет потом непременно в кондитерскую зайти. Конечно, в провинциальном банке не дождешься, чтоб тебе предложили чашечку мокко, это не Петербург и даже не Москва, а тем паче не Париж!

Госпожа Шатилова оглядела темные деревянные панели по стенам, повыше которых были наклеены болотно-зеленые обои. Ну конечно, шалыпинский стиль... Боже, как он осточертел! На самом деле в столицах он уже сделался пошлым, моден теперь только в провинции. Здесь, куда ни ткнешься, везде эта унылая, болотная зелень над дубовыми панелями. И в кабинете мужа в заводууправлении, и в доме управляющего (новая хозяйка велела немедля обои переклеить), и в приемной у дамского доктора, которого она посетила вчера, и даже здесь, в банке... Сочетание этой мертвенной зелени с ее лиловым платьем производит, должно быть, убийственное впечатление. Боже, можно представить, что за цвет лица сейчас у нее!

– Подите, Филяншин, подите, – раздался между тем негромкий властный голос, и кассир, съездившись, порскнул куда-то в сторону, исчез, как бы даже растворился в зеленом мареве, словно болотник в тумане. – Извините, что заставили вас ждать, господин Шатилов.

Новый сормовский управляющий и его жена обернулись к вошедшему – высокому худому человеку лет пятидесяти с изможденным, желтоватым лицом. Костюм болтался на нем, как на вешалке, однако материя, пошив, крахмальное белье<sup>6</sup>, да и мелочи – галстук (отнюдь не самовяз-регата, носят их только мещане и ленивые чиновники! а модный атласный, серый, аккуратный, с плотным узлом), булавка на нем, цепочка от часов, запонки – были самого высшего разряда, отнюдь не вычурно-купеческие, что моментально отметила наметанным взором госпожа Шатилова. Она любезно улыбнулась незнакомцу, который, впрочем, таковым недолго оставался и не замедлил представиться:

– Я – владелец сего банка Игнатий Тихонович Аверьянов. Вы мне телефоновали, господин Шатилов. Простите, задержали дела, не смог сразу встретить вас лично, а кассир Филяншин – он из новеньких – растерялся... так сказать, от чувств-с, как Бальзаминов.

– Сердечно рад знакомству, – Шатилов небрежным жестом отмел извинения и протянул руку Аверьянову, мельком удивившись, до чего горяча и суха ладонь. Жар у него, что ли? – Наслышан о вашем банке как о весьма надежном хранилище. Предшественник мой рассказывал чудеса о подвалах ваших и сейфах. Любопытно было бы взглянуть, однако не стану настаивать: понимаю, что в вашем деле истинно необходима секретность.

– Это так, – Аверьянов кивнул. – Чужих тайн открывать вам не стану, как ни просите, ведь это наилучшая гарантия, что и ваших никому не расскажу. Однако могу ли я иметь честь быть представленным...

Он с полупоклоном обернулся к даме, и госпожа Шатилова с трудом удержала изумленно взлетевшие брови: однако какая изысканность речей, какая галантность! И начитан, вон как к месту Бальзаминова ввернул... Вот тебе и провинциальный банкир! Да и на банкира – толстопуза, толстосума – господин сей ничуть не похож. Вид у него не столичный даже, а вполне европейский. Небось держит не пароконный выезд, а «Кадиллак» или «Бенц» для личных нужд. Да, это вполне в духе времени. Правда, господин Аверьянов как-то чрезмерно тощ. Болен, что ли? Или нарочно англизируется, по моде? Неужели в свободные часы всюю крутит на проселочных дорогах педали велосипеда, несмотря на то что для дам и финансовых тузов сия забава считается неприличной? На велосипеде по проселочным энским дорогам... По уши в провинциальной разъезженной грязи... Лидия с трудом сменила ехидную улыбку на приветливую.

---

<sup>6</sup> Мужскую рубашку, которую носили под костюмом, еще и в начале XX в. в обиходе часто называли бельем.

– Душа моя, – сказал Шатилов, предостерегающе улыбаясь жене, поскольку заметил опасный блеск ее глаз, – позволь представить тебе Игнатия Тихоновича Аверьянова, нашего нового банкира. А это супруга моя, Лидия Николаевна.

Аверьянов приложил к лиловой лайковой перчатке сухими, словно бы бумажными губами (ей почудилось, что даже шелест послышался), а потом, подняв голову, поглядел в глаза госпожи Шатиловой с некоторым замешательством:

– Прошу извинить, сударыня, но не оставляет меня ощущение, будто я видел вас уже... не припомню где. Боюсь оказаться неучтивым, однако память порою меня подводит... не освежите ли ее?

Лидия Николаевна чуть прищурилась:

– Рада бы, да не могу. Видимо, вы меня с кем-то спутали. До сей поры мы не виделись, однако полагаю, что знакомство наше не ограничится нынешней только встречей. На днях у нас состоится прием, новый управляющий должен представиться энскому бомонду, и вы, Игнатий Тихонович, конечно, получите приглашение по всей форме. Надо полагать, проехаться в Сормово вам не покажется затруднительным?

– С некоторых пор у нас тут многие лошадок отставили, моторизировались, ну, и ваш покорный слуга в том числе, – сообщил Аверьянов.

Лидия Николаевна порадовалась собственной проницательности. Правда, ее не порадовал чрезмерно пристальный взгляд нового знакомца. Или ей мерещится, или... Впрочем, ничто не отразилось на ее лице, ничто не омрачило приветливой светской улыбки:

– Прием приемом, а вообще я думаю журфиксы по четвергам устраивать. Впрочем, это лишь намерения, не хотелось бы с другими домами совпасть во времени. Вы случайно не знаете, кто-нибудь здесь по четвергам уже принимает?

Аверьянов пожал плечами, и костюм задвигался на его худом теле, словно отдельное, живое существо.

– Не могу сказать, – бросил чуть виновато, – далек от сего-с, от света весьма далек-с, потому знания регламента журфиксов не имею-с. Может быть, госпожа Рукавишникова...

– Ах нет, у Рукавишниковых по пятницам, это мне уже известно, – перебила Лидия Николаевна с тем небрежным выражением, которое непременно должно было подсказать всякому мало-мальски проницательному человеку: к первой богачке города, госпоже Рукавишниковой, в ее роскошный особняк на Верхней Волжской набережной, супруга нового сормовского управляющего, конечно, приглашена на ближайшую же пятницу.

Аверьянов приветствовал сие легким полупоклоном и вновь повернулся к Шатилову, который наблюдал, с каким волнением банкир разглядывал его жену и как тщательно пытался это скрыть. Пожалуй, Лидия права: ее жизнь в Энске обещает быть весьма интересной. А он-то переживал, что после Петербурга ей сделается здесь скучно. Зря переживал, значит!

– Почту за честь наше знакомство, Никита Ильич, – с ноткой провинциальной (то есть неподдельной) искренности сказал Аверьянов. – Заводы давно нуждались в дельном управляющем. После Александра Васильевича Мещерского, человека в полном смысле слова выдающегося, отменного руководителя и талантливого инженера, на их управление мало кто обращал внимание. Отсюда и волнения среди рабочих, и скандальные процессы, которые то один, то другой пролетарий затевает с администрацией и даже, как это ни печально, подчас выигрывает. Да зачем далеко ходить за примерами? Мой близкий друг и дальний родственник, – Аверьянов чуть усмехнулся своему каламбуру, – присяжный поверенный Русанов Константин Анатольевич как раз получил материалы по иску рабочего Баскова к администрации завода. Вы, быть может, уже в курсе дела?

– Это по поводу повреждения глаза в паровозо-котельном цехе? – уточнил Шатилов. – Как же, как же! Я уже осведомлен. Ну, у этого Баскова нет никаких шансов выиграть дело,

новый доктор наш заводской уверил меня, что у него бельмо на глазу, от коего и произошло повреждение зрения, а травма у станка вовсе ни при чем.

– Доктор тебя уверил? – перебила Лидия Николаевна. – Доктор Туманский?

– Да, он, – кивнул Шатилов, – у нас на заводах один доктор, Андрей Дмитриевич Туманский. А чем ты так изумлена?

– Ну, он же... – Лидия потупилась, словно собиралась сказать что-то непристойное, – он же *социалист!*

– Социалистом он может быть только на своих горлопанских сходках, а на заводах он прежде всего доктор, который, заметь себе, прекрасно понимает, что его жалованье и благосостояние зависит от моего к нему доброго отношения. Пусть он только посмеет у меня воду мутить! Мигом вылетит вон, и без выходного пособия. Еще и неприятностей с полицией огребет. Туманский в этом себе отчет вполне отдает и, как человек разумный, перечить мне остерегается. К тому же, сколь мне известно, в социалиста он играл только по молодости лет, а теперь все это в прошлом, давно в прошлом.

– Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит, – пробормотал Аверьянов. – Туманский, говорите? Новый доктор на заводах? Прежний ушел на покой по состоянию здоровья, помнится?

– Да, Логинов ушел. Я Андрея Дмитриевича Туманского сам на должность ставил. Это было первое мое назначение в заводскую администрацию. Туманский, вообще-то, из Москвы, мне его рекомендовали как весьма дельного человека. Рекомендацию он пока оправдывает, жаловаться не могу. Вот хоть и в случае с Басковым. Доктор твердо уверен, что повреждение глаза лишь поверхностное, а суть болезни именно что в бельме. Однако судебного процесса заводу все равно не избежать, увы: слишком уж пресса на эту тему расшумелась. Несчастный рабочий, злые эксплуататоры, то-се... Невольно вспомнишь пятый год, проклятый год! – Шатилов махнул рукой. – Ладно, изопьем сию чашу до дна, не привыкать. Но вы сказали, защитник Баскова – ваш знакомец и даже родственник? Любопытно. Что ж он за человек, этот Русанов? Хороший ли адвокат? Каких взглядов придерживается? Можно ли на его беспристрастность рассчитывать? Не социалист ли и он, господи помилуй? – Шатилов с улыбкой оглянулся на жену.

– Нет, он не социалист, хотя и либерал, – уточнил Аверьянов. – Умеренный либерал. Очень умный и разумный. Когда в шестом году проходил у нас процесс против двенадцати черносотенцев-погромщиков... они, извольте видеть, собрались на Острожной площади, чтобы учинить насилие над засевающими в Народном доме социал-демократами, в большинстве своем иудейского вероисповедания, и более чем сорока лицам нанесли-таки побои разной степени тяжести... Ну так вот, после этого все наши энские адвокаты состроили брезгливые мины и защищать обвиняемых отказались...

– Да ну?! – перебил Шатилов. – Вот сволочи!

Аверьянов поглядел с симпатией:

– Замечательно единомышленника встретить, тем паче – среди бывшего столичного жителя. Прошу прощения у дамы-с, но именно сволочи они и есть. Говорят, в Петербурге теперь очень модно протестовать против национальной, так сказать, розни, ну и нашистряпчие в стороне не пожелали остаться: скроили постные рожи и не пожелали «рук пачкать» о погромщиков. Константин Анатольевич тоже отказался было вкупе со всеми, однако, когда судья принужден был назначить для обвиняемых государственных защитников, пригласив их из Москвы, а из местных выбрал им помогать именно Русанова, родственник мой не стал артачиться, согласился. Мало того – защиту с блеском провел: его подзащитного оправдали.

– Ну и как это было местным обществом воспринято? – с живым интересом спросила Лидия Николаевна.

Аверьянов внимательно посмотрел ей в глаза:

– Да как... Большинство народу твердой власти алчет, как и всегда велось у нас, у православных русских. Настоящие, коренные жители Энска все горой за Русанова стояли. Среди актеришек-сатириков, журналистиков-шелкоперов, среди разночинцев, этих трепачей либеральных, вони, пардон-с, много было поначалу, потрепали они Константину нервишки, ну а потом поутихло все, отвязались они от него. Долг служебный есть долг, это понимать надо. Я своей дочери говорю: вот ты на курсах медицинских обучаешься, о клятве Гиппократата твердишь, неужто, обратись к тебе один из погромщиков, отказалась бы ему рану перевязать? Так она помялась, глазками поюлила, а после призналась, что не отказалась бы: мол, долг врача не велит больного без помощи оставлять. Вот такой же, говорю, долг у Константина Анатольевича, так что отвязитесь от него, а то налетели на хорошего человека, аки слепни на стреноженного коня!

– О, так у вас взрослая дочь! – воскликнула Лидия Николаевна. – Как странно: дочь банкира на медицинских курсах обучается... – Хотелось ей спросить презрительно: «Неужто для наживы?!», но побоялась обидеть банкира и проговорила невинным голосом: – Неужто мечтает о карьере земского врача?

– Модничает, – махнул рукой Аверьянов, не заметив потайного ехидства Шатиловой. – Ладно, я не неволю, все ж не старое время. Пускай забавляется, оно ведь не без пользы. Глядишь, когда образумится, замуж выйдет и детей нарожает, нелишне будет самой знать, каково оно – горчичники ставить или, великодушно извините-с, клистир.

– А у господина Русанова есть ли дети? – спросила Лидия Николаевна самым что ни есть небрежным светским тоном, словно не знала, куда деваться от скуки и лишь потому задавала этот вопрос.

– Двое их, – сообщил Аверьянов, бросая на нее быстрый, но очень пристальный взгляд. – Двое. Сашеньке семнадцать, Шурка на два года младше.

– Александр и Александра, значит? – уточнила Лидия Николаевна. – Приятный выбор имен, хотя несколько, я бы сказала, однообразный. Кто же сделал такой выбор – сам господин Русанов или супруга его? Как ее имя, кстати?

– Супругу Константина Анатольевича звали Эвелина Николаевна, но она... она упокоилась вскоре после рождения сына, – сухо сообщил Аверьянов. – Царство небесное.

– Скажите, какое несчастье! – воскликнула госпожа Шатилова. – Неужто родами умерла?

– Душа моя, – с улыбкой вмещался ее муж, – позволь же и мне поговорить с господином Аверьяновым. К тому же наверняка возок с деньгами для предприятия уже к отправке готов, а бумаг сопроводительных я еще не подписал.

– Погрузка денег закончена, – кивнул Аверьянов. – Охранник уже в санях. Ждет-с. Документы у меня в кабинете. Подпишете – и можно отправлять. Простите, сударыня, мы вас покинем сейчас, однако клятвенно заверяю, что на приеме вашем я буду и отвечу на все ваши вопросы как относительно господина Русанова, – он прямо поглядел в глаза Лидии Николаевны, – так и на все другие.

– Благодарствую, – Шатилова вызывающе улыбнулась. – И ловлю на слове.

– Может быть, чайку желаете покуда откушать? – спросил Аверьянов. – Вам подадут. С калачами. Калачи у нас обсыпные, отличные, из моей собственной булочной. С маслом и медом – ум отъешь!

– Ум отъешь? – Лидия Николаевна хохотнула. – *Quelle phrase...* Какое необычное выражение! Нигде ничего подобного не слыхала! Кажется, так лишь в Энке говорят? Нет, мерси, чаю мне не надобно, да и от калачей, пожалуй, откажусь. Лучше выйду на воздух. Пройдусь вокруг банка. А ты, Никита, не задерживайся, хорошо?

– Минутное дело! – уверил ее муж. – Показывайте дорогу, Игнатий Тихонович, я за вами.

Посмотрев вслед Аверьянову и мужу, скрывшимся за дверью с табличкой «*Директоръ банка г-нъ Аверьяновъ*», Лидия Николаевна пошла к выходу. Давешний кассир – как его фами-

лия, поросеночка? Филянущкин, что ли? – подсуетился: выскочил из-за конторки и проворно распахнул дверь.

Бросив мимолетную, ничего не значащую, но весьма теплую улыбку – она старалась быть приветлива с народом, хотя иной раз с души воротило, когда Шатилов, надо иль не надо, задумчиво улыбался своим немытым пролетариям и вступал с ними в житейские беседы, накручивая при этом штраф на штраф, – Лидия вышла на крыльцо и остановилась.

А супруга господина Русанова, значит, упокоилась после рождения сына? Забавно...

Лидия тихонько засмеялась. Да, шутники, ох и шутники бывают некоторые люди! Ну что ж, посмотрим, смогут ли они продолжать свои шуточки теперь, когда прибыла в Энск госпожа Шатилова...

Она поехала – сырость февральская пробралась под воротник беличьей шубки и прошла ледяными пальцами по обнаженной шее.

«Вольно же мне было декольте сегодня надевать! – сердито подумала про себя Лидия. – Все равно никто не увидит! Здесь не то что в Питере, когда во всяком присутствии с тебя первым делом шубку снимают и ручку целуют, здесь опроститься надобно... Впрочем, ручку Аверьянов целовал... Черт, как он на меня смотрел!.. Или мне кажется? Узнал? Как можно, мы прежде не виделись... Или на воре, как и положено, шапка горит? Поспокойней надо быть, поспокойней... Впрочем, все прояснится на приеме. А сейчас об этом лучше не думать, чтобы лишнего не накручивать. Завтра к Рукавишниковым что бы надеть? Эх, не знаю, каков у них прием, совсем приватный или для широкого круга... Как бы узнать? Ладно, надену авангардный черный муар с малахитовым гарнитуром. «Хромую» юбку<sup>7</sup> непременно! Эти клуши энские небось на месте перемерут! Они, можно вообразить, совершенно как в пьесах Островского – придут в ковровых павлиньих платках на плечах, в атласных юбках с подъюбниками и с пудовыми медальонами на золотых цепочках в палец толщиной!»

При слове «павлиньих» она рассеянно улыбнулась. Когда-то давным-давно – господи, как же давно это было! – все гуляющие по Верхней Волжской набережной могли слышать резкие, пронзительные, душераздирающие вопли, доносящиеся из-за ограды рукавишниковского дома. Там жил павлин, купленный когда-то на радость молодой хозяйке. Видимо, самой птице жизнь была не в радость, коли она так кричала, однако для Лидии (Лидуси – так ее тогда звали) этот крик, так же как толстые кариатиды на фасаде дома и каминные черные мрамора, коих Лидуся не видела, но о которых много слышала, надолго остались символом несчитанных денег, за которые можно купить все на свете и которые, если разумно ими распорядиться, принесут-таки счастье и вполне могут стать заменой того блаженного сотрясения чувств, которое зовется любовью. В общем-то, жизнь Лидии можно назвать счастливой, хотя любви в ней нет (ну и слава богу!) и хотя, конечно, она не столь богата, как те же Рукавишниковы или, например, ее приятельница Зиночка, бывшая Морозова, ныне Рейнбот, супруга московского градоначальника. Стараниями покойного Саввы – темная история с его смертью в Ницце, ох и темная, до сих пор не проясненная! – был отгрохан великолепнейший домина, можно сказать, замок, в котором голова кружилась от роскоши. Однако Лидии этот дом всегда казался чуточку простоватым, ну, может, потому, что за его оградой не орали дурным голосом павлины, а на фасаде не выпячивали гипсовые, тщательно оштукатуренные груди «аннушки» – так на языке строителей почему-то назывались кариатиды. Ну и, само собой, в Энске до сих пор не выстроено ни одного дома, который мог бы сравниться с этим серым зданием по великолепию. Вот здесь, на небольшой Немецкой площади, в уединенном месте близ старого Петропавловского кладбища, где устроился в приятном особнячке Волжский промышленный банк приятного человека Игнатия Тихоновича Аверьянова, вокруг теснится еще множество весьма приятных двухэтажных домов, однако противу дворца Рукавишниковых на Верхней Волжской набереж-

---

<sup>7</sup> Так назывались очень узкие юбки, которые сковывали ноги и позволяли делать только мельчайшие шажки. (Прим. автора.)

ной все они кажутся нахохлившимися воробьями по сравнению с... ну да, с павлином, с кем же еще!

\* \* \*

- У меня ренонс в трефах, а вы мне под козыри... Конечно, недобрали...
- Позвольте, позвольте, ведь вы прикупили десятку к вашему валету...
- Да вы же показали мне масть, а сами...
- Виноват, позвольте...
- Биты, батенька, биты ваши трефы-с! Ошиблись вы, нынче бубны козыри!
- Мать родимая... Эхма...
- Пас, что ль?
- А что ж еще-с?
- Тогда кончено. Еще партийку?
- А на честное словцо-с?

– А на честное словцо-с на Нижнем базаре вместо кроликов кошек драных продают, слышали-с? Ладно, ладно, не дуйтесь, согласен. Сами знаете, игра идет ради интересу. Сдавайте! Денежки в банчок-с, господа, кто достаточен!

С треском распечатываются новые колоды карт. Постукивая мелком, записывают ремизы и онеры. Игроки шелестят картами, распуская их веером, шелестят банкнотами, бросаемыми в банчок-с.

Неиграющий – симпатичный господин средних лет в *ripse-pez*, светский человек, подлинный *charment*, как говорят французы, – шелестит страницами «Энского листка»:

«Художественный электротئاتр!<sup>8</sup> Сегодня премьера – «Разбитые грезы» – драма в 5 актах с участием итальянской красавицы Лили Борели. Начало... билеты...»

«Первоклассный ресторан «Бристоль» в Канавине! Дамский салонный оркестр при участии интересных полек, венгерок и немок играет ежедневно с 11 утра и до 2-х дня и вечером с 8 часов до закрытия».

– Как думаешь, Костя, они все и впрямь – итальянские красавицы, немки, венгерки и польки? Или местного разлива под иностранными этикетками?

«Charment» – он же Константин Анатольевич Русанов, сорокапятилетний присяжный поверенный, интеллигент, ловелас и загадочно-молчаливая персона во всякое иное время, кроме судебного процесса, – только плечами пожал.

– Не веришь? – спросил бывший друг русановского детства, ныне хозяин ресторана «Марсель» Савелий Савельевич Савельев.

– Ну вот твоя ресторация называется «Марсель», а она где находится, на юге Франции, что ли? – разомкнул уста под изящнейшими усиками мсье Русанов. – То же и «Венеция», то же и «Бристоль». И все же в «Бристоль» управляющий – честный человек, уточнил, что это – не тот «Бристоль», что в Великобритании, а тот, что в Канавине! Но насчет полек и венгерок даже этот честный человек приврал, конечно. Обычные местные «арфистки»<sup>9</sup> с жирными пудренными плечами под разноцветными тряпками. Ну, может, чуть выше пошибом, чем из «Магнолии», но все ненамного.

– От Василия письмо пришло, – после минуты почтительного молчания (всякое изречение присяжного поверенного Русанова, даже самого ничтожного свойства, бывший друг детства воспринимал самое малое как цитату из Библии, только еще с большей степенью пietetа). – Ты получил от него чего-нибудь или нет?

---

<sup>8</sup> В описываемое время так назывался кинотеатр, синема и т. п. (Прим. автора.)

<sup>9</sup> В описываемое время прозвище публичных женщин. (Прим. автора.)

– Уж который месяц не было писем. Да и ладно, про что писать-то особо? Надежда Еремеевна, супруга-с, хвала Господу, здоровы-с, Грушенька, дочка-с, тоже благоденствуют, капиталы Василь Васильича, конечно-с, прирастают... Не про него ли в давние времена государственный муж изволил выразиться, мол, могущество российское прирастать будет Сибирью?

– Не в Сибири Васька, – с нравственным полупоклоном осмелился поправить высокоученого друга Савельев. – На Дальнем Востоке. Город Х.

– А, ну да... – Русанов рассеянно кивнул, продолжая шелестеть листками «Листка» и думая, что хорошее это местечко – ресторан «Марсель», угол Большой и Малой Покровской. Тихо, уютно. По сути дела, мужской клуб. Хочешь – ешь, хочешь – пей, хочешь – в пулечку или в вист, хочешь – просто так газеты читай. Вся пресса к услугам, от столичной до местной. В том числе и любимый Русановым «Энский листок».

Надо сказать, что превеликое уважение к печатному слову вообще и к газетам в частности у Русанова было не унаследованное, а благоприобретенное. Матушка его отца, например, считала, что всякая газета печатается исключительно для того, чтобы Русановы находили в ней ответы на житейские вопросы. И она очень удивлялась, что газетки пишут о каких-то других, никому не интересных людях. С этим была связана одна семейная история. В феврале 1856 года, во время Крымской войны, приходили очень неутешительные вести с театра военных действий. У госпожи Русановой на войне был младший сын. И вот однажды подали газету в траурной рамке. Дама, закрыв лицо руками, воскликнула: «Боже мой! Петрушу убили!» Ей и в голову не могло прийти, что ради Петруши Русанова газету вряд ли забрали бы в траурную рамку. Через минуту выяснилось, что к Петруше рамка отношения не имеет (он вернулся с войны без единой царапины и прожил жизнь достаточно долгую и счастливую): это было извещение о смерти императора Николая Первого...

Русанов вел глазами по строчкам – и ужасался тому, что читает:

«Несравненная рябиновая Шустова!  
Футбол, борьба, велосипед,  
Бега, и скачки, и моторы,  
И гребля, и лаун-теннис,  
Развитие сил, потеха взору —  
Все это так, я сознаю,  
Я пользы их не отрицаю,  
Но я шустовским коньячком  
Таких же целей достигаю!»

– Боже мой, что за чушь! Ты видел это, Савелий?!

– А, это... Ну, реклама, Костя, что поделаешь, двигатель торговли! Ради рекламы какой только хе... херомантии не напнешь! И про полек венгерских, и про лаун-теннис с мотором...

– Реклама – это не для нас, – авторитетно покачал головой Константин Анатольевич. – Не для России. Реклама погубит Россию, это я тебе говорю! У нас открытый, честный народ, нам надо искренне... нам надо правду-матку в глаза резать!

– Да брось ты, Костя, – ласково прожурчал Савелий Савельич, улыбкой извиняясь, что осмеливается противоречить. – Ты где этот честный народ в последний раз видал? Третьеводни на Миллионке, в нумерах, где потертым девкам душу изливал, когда с Клавди... то есть с Кларой своей повздорил? Или в Доримедонтове ты его видал, когда старосте взятку давал, чтоб не пожгли Олимпиадин дом мужички-свободолюбцы? Ну, Костя... Разве не знаешь: коли ты к России с душой, так она к тебе с кукишем, а коли ты к ней с кулаком, она к тебе с кувалдою! Не сладишь с нами-то!

Русанов насупился. Ширк-ширк газетными листками...

«Авиатор Сикорский установил на аэроплане «Илья Муромец» новейший мировой рекорд грузоподъемности. В течение 18 минут он летал на высоте 300 метров, имея в гондоле кроме себя шестнадцать пассажиров и собаку. Общий поднятый вес 80 пудов...»

Илья Муромец... На митинге, что месяц назад собрался на Новой площади в честь годовщины 9 января, какой-то горлопан в засаленном пальто с бобриковым воротником и в шапке-пирожке надрывался: Россия-де, словно Илья Муромец, сидит на печи, но уж как поднимется...

И что будет? Пойдут клочки по закоулочкам? Чьи клочки? Эх-эх...

Иногда так хотелось пострадать за Россию – просто спасу нет!

Интересно, что ж она за страна такая, наша Россия, что за нее непременно пострадать хочется? Можете вы себе представить высокомерного англичанина, или веселого француза, или деловитого американца, тем паче – грубоватого германца, которые в любую минуту, с утра до вечера и с вечера до утра, жаждут быть распятыми на кресте за Отечество? Невозможно вообразить сие! И при том они, конечно, патриоты своих держав, они пекутся об их процветании, развитии, международном авторитете, о росте и мощи, о крепких армии и флоте, об увеличении ассигнований на народное образование и электрификацию, дискутируют о свободе слова, они видят в богатой, славной, могущественной Великобритании, Франции, Америке или Германии конечную цель своих жизненных усилий, они живут, трудятся, стараются ради величия Отечества своего...

Не то мы, русские. Не величие Отечества есть конечная цель наших жизней, а наше страдание во имя России. Сам факт сего страдания! На самом деле, что там с ней, с этой Россией, станется, полетит она хоть в тартарары, хоть в выси горние вознесется – сие нас нимало не заботит. Для нас главное – страдать за Россию, вот некий духовный орден, которым мы сами себя жалуем и который сами себе на грудь прикалываем. Лучший тому пример – первоартовцы, бомбой разнесшие на куски благороднейшего из государей, Александра Николаевича, давшего вожделенную *волю* народу. Неужели эти умные, интеллигентные люди всерьез верили, что кровавое убийство царя дарует им в глазах народа ореол мучеников? Неужели надеялись, что на святой Руси хоть кто-то слезинку о них прольет, когда поднимались на эшафот, зная, что вскоре от их тел и помину не останется, будут они брошены в яму с негашеной известью и схоронены среди отбросов? Собственное страдание возвеличивало их в их же глазах, придавало жестокому убийству видимость подвига... нужного только им. Только им – как повод для страдания во имя России!

Господин Русанов любил иногда вот этак, наедине с собой, пофилософствовать...

– Слышь, Константин Анатольевич! – Савельев, от почтительности пальцами пошевеливая, решил нарушить затянувшуюся задумчивость друга. – Василий наш весьма обеспокоен. Что-то у него дочка там начудила, связалась с кем-то, с кем не нужно...

– Дочка? – вынырнул из пучины мыслей Русанов. – Эта, как ее...

– Грушенька.

– Ну да, Грушенька. Что с ней, говоришь?

– Да не написал Васька подробностей, – с досадой сказал Савельев и даже кулаком пристукинул по колену, обтянутому штучными полосатыми брюками.

«Хорошие брюки, гриделиновые... эх, полосочка скромненькая, но *très élégant, beaucoup*<sup>10</sup>, – рассеянно подумал Русанов. – Не пора ли и мне панталоны обновить? Олимпиада говорила, на первой неделе поста в магазине Пояркова дешевка<sup>11</sup> остатков тканей от прошлогоднего сезона. Разве сходить? С Кларой можно бы... Нет, лучше с Олимпиадой, с Кларой я точно без штанов вернусь, – он невесело ухмыльнулся, – все деньги потрачу на какие-нибудь

<sup>10</sup> Очень элегантно, весьма (*франц.*).

<sup>11</sup> Так в описываемое время называлась распродажа по сниженным ценам. (*Прим. автора.*)

ее бантики-блузочки или эти, как их там, что в прошлый раз покупали, ей понравились... рекламу видел... – Он помусолил страницы: – Вот они: «А Дискресіон Дралле – духи и одеколон дивного, чарующего запаха!» Один флакончик как раз в стоимость и ткани, и пошива, – хозяйственно подсчитывал Русанов. – Олимпиада же постесняется тряпки клянчить. Ну, на худой конец куплю ей какое-нибудь «Мыло молодости, секрет красоты от А. Сіу и К°» или вовсе «хрустальное», вон как тут пишут: «Регулярно пользующиеся этим мылом обязаны ему чудесным цветом лица, бархатисто-мягкой и нежной кожей. Кусок 25 коп.».

– Василий обеспокоен, говоришь? – дошло наконец до Русанова известие.

Он оторвался от газеты, уставился на друга. Васька и Савка, Василий и Савелий, Васильев и Савельев, были с ним, с Костей Русановым, в былые годы неразлучны. Он называл их «анаграмма» – из-за схожести имен. Савелий-Василий, Василий-Савелий... Они и в самом деле были похожи всем, в том числе гибелью родителей – отцы и матери того и другого утонули двадцать лет назад во время крушения парохода «Калуга» товарищества «Кавказ и Меркурий». Савелию остались кое-какие денежки да кабачок «Марсель» (пуркуа именно «Марсель» в Энске? Да вот так, а пуркуа бы не па?), из которого он сделал одноименную процветающую ресторацию со скромной вывеской – медные накладные буквы на черном фоне, что свидетельствовало о тонком вкусе хозяина: ведь кричащие вывески позволяют себе только купцы-скоробогатеи; с отличным буфетом с *бутэробродами*, где народу толпится столько, что буфетчик наливает водку двумя руками и не успевает следить за всеми покупателями, которые бесстыдно тащат со стоек оные *бутэроброды*; с лакеями не в косоворотках и фартуках, подвязанных под грудью, а в скромных фраках... Василий же, продав дом и отдав родительские долги, остался натурально без штанов и отбыл разживаться, но не в Москву, о которой мечтал, подобно героиням Чехова, взалхлеб, хотя и на свой особенный, купеческий салтык («Ну, Москва! Это не наша деревня! Там только копни – все найдешь!»), а к дядюшке – в далекий и пугающий город Х. на каком-то там Амуре, за десять тысяч верст от Энска. Константину было в ту пору не до приятелей, он весь горел в сладком чаду ухаживания за Эвочкой Понизовской и отмахивался от ее бешеной сестрицы Лидуси, а также втихомолку утешал другую сестрицу, печальную Олимпиаду. Ну да, все сестрицы заболели одной и той же болезнью, называемой «constantinus rusanovus». Кончилось все это ужасно, позорно кончилось... Да ладно, плюнуть на прошлое!

Ну вот, Константин, значит, разбирался со своими делами, позабывая о друзьях, вовремя не отвечая на письма с Дальнего Востока, а Васька с Савкой писали друг другу регулярно, словно две старые девы в разлуке. Савелий искренне радовался внезапно нагрянувшему богатству Василя (тот очень хорошо женился, лучше некуда!), а дочери у них родились почти одновременно: у Василя – Грушенька, у Савелия – Варенька...

Какая Варенька, какая Грушенька, а, Константин Анатольевич? Да наплевать тебе в данный момент на все на свете, кроме вот этого объявления, которое сейчас попало тебе на глаза:

«Семенная вытяжка! Из семенных желез животных! Чудо медицины, чудо омоложения! Лечит старческую дряхлость, худосочие, половое бессилие, хроническое расстройство пищеварения и сердечной деятельности, неврозы, истерию, тиф, скарлатину, дифтерит, сифилис. Один флакон 2 руб. 50 коп. Пересылка по почте – 40 копеек, пересылка заказов более одного флакона – бесплатно».

Плевать на тиф, расстройство пищеварения и, в конечном итоге, на сифилис! Ведь даже сифилиса, черт подери все на свете, не подхватишь при таких делах! Старческая дряхлость, половое бессилие... Это уже горячо, это нам уже ближе... Семенная вытяжка, чудо медицины? Адрес, конечно, московский...

У Русанова была хорошая память. Мысленно повторяя: «Полянка, дом Пивоваровых, за складом «Бр. Крахмальниковых», письма адресовать для господина Самойлова», он выцепил взглядом еще одно объявление:

«Красивый резвый жеребец Рубль завода М.Н. Блинова, рождения 1903 года от Павлина и Разины. Назначен в общую случку, плата с матки 15 руб. Находится в конюшне ярмарочного бега, обращаться к наезднику С.Н. Полякову...»

Вот так бы разжиться семенной жидкостью, а после курса явиться к Кларе таким красивым резвым жеребцом Рубль, осчастливить ее неоднократно и еще плату за каждую случку потребовать...

Русанов захохотал, отшвырнул газету, повернулся к озадаченному Савелию:

– Так чем, говоришь, Васька там обеспокоен?

\* \* \*

Позади скрипнула дверь, Лидия оглянулась: неужели Никита уже закончил свои дела? Нет, снова явился этот поросеночек, он же карп зеркальный, – Филянушкин.

– Не озябли, сударыня-с? – спросил задуманным от почтительности голосом. – Ветрено-с. Может быть, воротитесь в тепло-с? – И торопливо провел рукой по своим и без того залезанным волосам.

«Однако каково все же далеко зашла цивилизация в Энске! – внутренне усмехаясь, подумала Лидия. – Прежде молодцы с такой вот приказчицкой внешностью *волосья* свои лампадным маслом смазывали – для красоты-с, а нынче, извольте видеть, бриолин или фиксажур, да еще небось французского производства!»

– Супруг ваш прислали сказать, мол, еще минут на десяток задержатся они-с, а то и на четверть часика-с, – сообщил Филянушкин. – Так что не извольте ли в помещеньице-с?

И он сделал приглашающий жест.

Конечно, Лидия озябла. Конечно, самым разумным было бы вернуться в банк и погреться. Однако наблюдать, как Филянушкин шаркает перед ней ножкой, и слушать, как он силится вести светскую беседу, вдруг показалось невыносимо. К тому же, если Никита будет знать, что она сидит в тепле, он может затянуть разговор с понравившимся ему Аверьяновым невесть на сколько, мужа своего Лидия хорошо знала. А вот если Филянушкин сообщит Никите: супруга-де, ожидая вас, все еще на улице зябнет-с, господин Шатилов соизволит поторопиться.

– Здесь и в самом деле ветрено, – согласилась Лидия, утыкаясь лицом в муфту. – Но я заверну за уголок – ветер и поутихнет. Всего наилучшего, господин Филянушкин, прощайте. Скажите моему мужу, что я его жду!

Спрыгнув с крыльца, она чуть ли не бегом устремилась к углу здания и завернула за него.

– Постойте, сударыня, не извольте туда ходить... Простынете на ветру! – долетел до нее отголосок истошного вопля Филянушкина, и Лидия остановилась, прижавшись к стене.

Чтоб тебе провалиться, поросенок! От тебя, от твоей назойливости госпожа Шатилова спасалась так стремительно, что не успела подобрать подол и испачкала его в талом снегу да еще того же талого снега набрала в ботинки. Одно хорошо: тут и в самом деле ни ветерка. И Филянушкин отстал: небось озяб и решил воротиться в тепло. Ну и отлично!

Лидия опустила муфту и огляделась. Она оказалась в узком проулке, примыкающем к задней двери банка. Почти вплотную к двери стоял одноконный закрытый санный возок: на козлах нахохлился ражий мужик в нагольном тулупе – замечательно подходящая к сырой и холодной энской зиме одежда эти тулупы! – а в глубине возка сидел сосредоточенный и бледный от усердия молодой человек, приобнявший два холщовых мешка с печатями. Ну а близ санок, придерживая шашку, прохаживался полицейский в шапке с красным верхом и длиннополой шинели. На Лидию он поглядел подозрительно и не сразу отвел глаза.

«Ага, – поняла Лидия, – вот они, деньги для Никитиных рабочих. В мешках. А зачем полицейский на меня пялится? Неужто решил, будто я хочу денежки схватить – и бежать со

всех ног? Вот дурень какой. Лучше бы вон на этих смотрел, которые в санках сидят. Рожи-то до чего разбойничьи!»

«Разбойничьи рожи» принадлежали трем подвыпившим молодчикам в студенческих фуражках и шинелях с петлицами Коммерческого училища, единственного, как успела узнать Лидия, высшего учебного заведения в Энске. Студенты сидели в пошевнях, стоявших неподалеку от банковского возка. Спинка саней была разрисована яркими букетами, из чего Лидия заключила, что сани либо из какой-нибудь деревни, либо из рабочего пригорода, где еще сохранились, так сказать, патриархальные нравы. Конечно, студенты наняли их по дешевке. Судя по нетерпеливым взглядам на соседний дом и досадливым восклицаниям, они ждали еще одного своего приятеля, а тот почему-то задерживался. От нечего делать студенты громогласно высмеивали какого-то Бориску, сидевшего в тех же пошевнях. Это был парень с нагловатыми яркими глазами, усиками в стрелку и столь буйно вьющимися темно-русскими волосами, что на них с трудом удерживалась студенческая фуражка.

Несмотря на форму, троица мало напоминала студентов, а Бориска – менее прочих. Это был самый настоящий Ванька Кудряш из «Грозы» или, к примеру, Ванька-ключник, злой разлучник из старинной песни: черты лица точеные, кудри кольцами, губы сочные, румянец во всю щеку да острые, недобрые синие глаза. Очень напоминал он также Челкаша из рассказа модного писателя Максима Горького – местного уроженца, к слову. Раньше этот Горький, сколь помнилось Лидии, пописывал противные статеечки в «Листке», причем один из прежних знакомых Лидии очень этими статеечками и рассказами восторгался... ну, и она восторгалась тоже, а что делать, ведь она была в этого «знакового» до одури, до потери разума влюблена! Теперь все то море глупостей, которое она из-за него содеяла, уже высохло и забылось (ну, или почти забылось), а Горький стал знаменит, сошелся с кукольно-красивой актрисой Андреевой (ох, как ненавидела ее Зинуля Рейнбот – ведь эту Андрееву до последнего дня своей жизни фанатично обожал бывший Зинулин муж, миллионер Савва Морозов, и мало что обожал – сто тысяч рублей отказал нестоящей актерке по завещанию... Как ни билась Зинуля, отсудить деньги ей так и не удалось... да ведь и не за деньги она билась, у нее и без того было довольно, а против позора!). Так вот, Горький тот долго жил на Капри, в Италии, по Америке путешествовал, а буквально на днях вернулся в Россию, поселился где-то под Петербургом, Лидия точно не знала, где именно, да и неинтересно ей было, Горького она с тех давних пор почти не читала, неизвестно, откуда вдруг взялся в голове его Челкаш, так похожий на буйноволосого Бориску в деревенских пошевнях...

«Вообще-то, конечно, самый настоящий «*garçon de cabaret*»,<sup>12</sup> но какие глаза...»

Пользуясь тем, что соловая лошадка, впряженная в банковский возок, стояла смиренно и жевала себе овес из торбы, а возчик подремывал на козлах, Лидия притулилась под прикрытием этого возка. Отсюда можно было незаметно разглядывать наглого синеглазого студюзуса. Лидия вообще к студентам относилась, скажем так, *особенно*. Бориска ничем не напоминал того человека, из-за которого она однажды натворила очередное море глупостей в своей жизни – причем не столь давно, всего лишь два года назад: тот был чернявый, тонкий, гибкий, – однако глаза у него горели точно таким же недобрым огнем...

Лидия взволнованно смотрела на Бориску, дивясь своему внезапному и столь жгучему интересу, и то погружалась в воспоминания, то вслушивалась краем уха в пересмешки студентов.

Вот те на! Бориска-то, оказывается, игрок, да удачливый – в игорном доме сорвал немалый куш. Так-так... интересно, где в Энске находятся игорные дома? Наверняка на Рождественской, где знаменитое горьковское «дно» и все значные места. Или возле знаменитой ярмарки? Надо поскорей узнать... У Лидии заблестели глаза: она была очень даже неравно-

<sup>12</sup> Кабацкий парень (*франц.*).

душна к хорошей игре и частенько расставляла дома игорные столы для друзей, но дома играет лишь по маленькой, то ли дело – в серьезном заведении! А этот Бориска, вместо того чтобы пустить выигранные деньги на ветер в компании веселых друзей и красоток, хочет уподобиться какому-нибудь скучному мещанину и положить их на банковский счет. Это вызвало страшное возмущение беззаботных студентов. Бориска оправдывался, он-де желает уязвить своего скупого отца, который заел его проповедями о том, что жить надо по средствам, вечно попрекает тем содержанием, которое ему выплачивает ежемесячно, зажимает в карманных деньгах. Вот Бориска и хочет показать отцу, что разбогатеть можно и благодаря счастливому случаю.

Бориска и его друзья не просто спорили – они разошлись и орали на всю улицу. Полицейский все чаще на них оглядывался. Наконец Бориска не выдержал приятельского натиска: выскочил из своего возка и подбежал к полицейскому:

– Ваше благородие, хоть вы нас рассудите!

Низший чин, столь высоко и столь внезапно вознесенный, принял важную позу, и Лидия подавила смешок: вспомнила, как кассир Филянушкин чуть было не назвал ее мужа величием.

– Чего вам, господин студент? – важно спросил полицейский.

– Да вот рассудите мой спор с этими дурнями, – умоляюще воззвал Бориска. – Я тут деньжишками невзначай разжился и хочу их в банк положить, чтобы отец знал: не только ежели горбатиться у него в лавках, разбогатеть можно. А товарищи настаивают, чтобы я сей же момент всю свою удачу в питейном заведении спустил – не то, мол, она, удача, меня оставит и фартить мне больше не станет.

Полицейский огладил усы, и толстошеекое лицо его вдруг сделалось по-купчески степенным:

– Правильно мыслите, господин студент, конечно, вам потребно бы...

– А чего тут правильного? – перебил встрепенувшийся возчик. – Чего правильного, дядя? «В банку положить, папаше сказать...» Небось, узнав, что вы сами, барчук, без евонной поддержки разжились, родитель и вовсе лишит вас своей подмоги. Только на себя и на свой капиталец рассчитывать придется. Рано или поздно вы всяко выньмете денежки из банки и спустите к чертям. Ну а коли так, зачем дело в долгий ящик откладывать? Лучше уж с этого начать.

– Браво! – завопил Борискин приятель и тоже вылез из санок, разминая ноги. – Устами народа глаголет истина! Вот я и говорю: поехали в «Венецию» или в «Белый медведь»! В «Венеции» нынче вечером знаешь что? Дебют несравненной красавицы Клары Черкизовой в качестве певицы романсов!

– Клара Черкизова! – внезапно разволновался полицейский. – Актерка, что ли? Тьфу! Да что вам эта Клара?! Что «Венеция»?! Вы, молодой человек, вот как должны поступить: выигрыш ваш снесите в банк, хоть бы вот в этот, господина Аверьянова, Волжский промышленный, положите под хороший процент, только батюшке и в самом деле – ни-ни. Ни словечка! Живите, как прежде жили, терпите его воспитание. Поучение родительское – не вошь, до крови не заест. И вытерпеть можно, и смолчать. Денежки же прирастать процентом будут. А Клара эта ваша... Она в жизни вовсе не Клара, а Клавка, я доподлинно осведомлен, с ейной горничной в хорошем знакомстве состою. Клавка она, говорю вам! Не стоит того, чтоб на нее весь капиталец угроживать. На дешевку, на актерку спускать... Жалко! Удача – она ж не прислуга наемная: нынче пришла, а завтра уж не дождешься. Вдруг вам более не подфартит?

– Подфартит! – уверенно сказал Бориска. – Подфартит, я знаю!

– Откуда же вы это знаете? – удивился полицейский.

– А откуда, – таинственным голосом проговорил Бориска, – что у меня всегда в рукаве – козырный туз! И когда игра пойдет, я его в нужный момент – р-раз! – и мечу. Вот так! Пошла игра!

И он, сунув правую руку в левый рукав шинельки, выдернул что-то – в первую минуту Лидии показалось, будто это и впрямь карта, только со странной, блескучей какой-то рубашкой, – и швырнул в лицо полицейского. Тот вскинул руки, словно пытался ту карту поймать, но бестолково хлопнул перед лицом ладонями, закинул голову – и вдруг принялся медленно, медленно, как бы нехотя заваливаться на спину. Заваливался он, заваливался да и грянулся наконец наземь. Тяжко грянулся, так, что гулко отозвалась земля.

– Что ты, дядя? – громко, испуганно воскликнул возчик, вытягивая шею и глядя на лежащего. – Что это с ним, а?

– Да ничего особенного, – усмехнулся Бориска. – Я ж говорю – игра пошла! Козырные, выручай!

И он, снова сунув руку в рукав, на сей раз левую в правый, опять выдернул из него что-то – Лидии все еще казалось, будто карту! – и швырнул возчику прежним, небрежным и в то же время острым движением. И возчик совершенно так же, как до этого полицейский, хлопнул в воздухе ладонями, потом схватился за горло, покачнулся – и грянулся с козел.

– Алле-оп! – непонятно крикнул Бориска и шутовски раскланялся. – Выход на комплимент! Давай, Ганин!

А затем произошло следующее. Тот молодой человек с бледным лицом, который до этого сидел в санях, приобняв денежные мешки, выскочил вон. Теперь лицо его сделалось еще бледнее, к тому же подергивалось нервически. Мешки он поволок за собой, но один из них зацепился за что-то в возке и никак не доставался. Бориска подбежал, дернул, помог, высвободил мешок, ловко выкинул его на снег. Бледный Ганин неуклюже подбежал, подобрал, потащил в сани, где сидели студенты, то и дело оступаясь и оскальзываясь.

Тем временем двое товарищей Бориски выскочили и, подхватив лежащего полицейского за руки и за ноги, закинули его в тот возок, где прежде сидел Ганин с деньгами. Горло у полицейского было плотно закутано густо-красным шарфом.

«Что за шарф? – удивилась Лидия. – Не было у него никакого шарфа. И почему он не шевелится?» Она то ли не понимала, что произошло, то ли просто отказывалась понять – разум противился.

Уложив полицейского, сотоварищи Борискины подхватили и возчика, сунули внутрь возка и его. Действовали они споро, проворно, а вот Ганин все еще запинался на каждом шагу, все еще тащил мешки к кошевням.

– Живей, сволочь! – люто крикнул Бориска, пнув его пониже спины.

Ганин упал на колени да так и пополз вперед, смешно вихляясь всем телом и таща за собой мешки. Бориска захохотал и снова пнул его столь крепко, что Ганин простерся ничком, а когда обернулся, лицо его было залеплено талым снегом.

– Зачем?! – крикнул он. – Ты бешеный! Нашел время беситься! Тикать надо, а ты тут цирк устраиваешь!

– Ты что-о?! – изумленно протянул Бориска, наклоняясь над ним. – Учить меня вздумал? Да что ж это такое, все учат да учат! Может, еще в угол поставишь да розгами пороть станешь? Ну, этого терпеть я не намерен, извините великодушно!

Он дернул правой рукой – просто дернул! – и из рукава снова вылетела... карта. Мелькнула у горла Ганина, и тот выпустил мешки, но руками хлопать не стал – просто раскинул их широко, запрокинулся назад да так и замер на коленях. Горло его тоже окуталось красным шарфом.

Студенты переглянулись.

– Сдурел, Бориска? – опасливо спросил один из них. – Зачем ты его убил?

«Убил! – словно бы прокричал кто-то истошно в голове Лидии. – Убил! Он их всех убил – и полицейского, и возчика, и Ганина!» Ну да, наконец-то она все поняла. Никакую не карту

kozyрную выбрасывал Бориска из рукава – он метал спрятанные там ножи, метал с непостижимой, какой-то цирковой ловкостью и поражал ими насмерть...

– Зачем ты его убил? Он же нам помогал! – повторил между тем студент. – Он же нам помогал!

– Ну и что? – глянул на него Бориска вроде беспечно, но глаза его вмиг словно бы выщвели, приобрели оттенок безумной белизны. – Помогал, помогал... Он же не идейный, он же за деньги! Больно была нужда делиться с ним. Берите его, грузите. И хватит тут топтаться, пора разъезжаться!

Студенты («Да какие они студенты, они же переоделись студентами, чтобы полиции глаза отвести!» – догадалась Лидия, делая одно страшное открытие за другим, жаль, с опозданием), видимо, остерегались спорить с Бориской – мало ли что может взбрести в его шальную голову, когда он смотрит такими бешеными глазами? Сунули мертвого, обвисшего Ганина в тот же возок, где уже лежали трупы возчика и полицейского, а потом один из «студентов» вскочил на козлы и хлестнул сонливую лошадку, все так же безмятежно жевавшую овес из своей торбы.

От неожиданности та взвилась – ну не кляча извозчичья, а прямо тебе аргамак под казачком! – рванула в сторону. «Студент» едва справился, удержал, не дал саням опрокинуться, – и сжавшаяся от ужаса Лидия оказалась прямо перед глазами Бориски.

Он, чудилось, сему зрелищу не тотчас поверил – так и вытаращился, так брови и вскинул. А она словно окаменела и к месту примерзла: ни рукой шевельнуть, ни ногой. Прижала ко рту муфточку и дышала в нее коротко, судорожно. Повлажневший мех неприятно щекотал губы...

– Ма-ать честная... – каким-то мальчишеским, тонким, изумленным голосом протянул Бориска. – А это еще кто?!

– Она видела! – так же потрясенно возопил второй «студент», стоявший около саней с двумя денежными мешками в руках.

– Видела! – эхом отозвался первый.

– Видела, что ль? – спросил Бориска, глядя прямо в глаза Лидии. – Ну и зря.

И медленно начал поднимать левую руку.

Обострившимся от ужаса разумом Лидия вдруг прозрела то, что сейчас произойдет: Бориска резко тряхнет рукой, из нее вылетит такой же *kozyрный туз*, каким он уже убил троих (неведомо, сколько там этих *тузов* сокрыто в его рукавах и как он умудряется так ловко, так страшно ими распоряжаться!), – вылетит, просверкнет в воздухе, пропоет страшную, короткую, свистящую песню и... Потом Лидия увидела себя – запрокинувшуюся, бестолково машущую руками, с окровавленным горлом. Увидела – и завизжала, повернулась, кинулась, оскальзываясь на снегу, за спасительный угол, уже слыша, всем существом своим слыша, как летит к ней, вспарывая воздух, нож Бориски...

Лидия уже почти повернула за угол, как вдруг кто-то выскочил навстречу и замер, преградив ей дорогу. Она уткнулась в эту внезапно возникшую преграду, толкнулась в нее, пытаясь сдвинуть с места. Бесполезно! И тут около ее уха коротко, пронзительно просвистело, раздался короткий тупой удар, преграда покачнулась, Лидия рванулась вперед, что-то упало на ее пути. Что-то бесформенно тяжелое, словно бы чье-то тело.

– Тихо! – вскричал позади Бориска. – Какого черта?!

Лидия перескочила то, что упало к ее ногам, понеслась вперед, завернула наконец за угол, однако не сделала и пяти шагов, как снова уткнулась в преграду. Нет, это не просто преграда, это какой-то человек схватил ее и держал крепко, не давая шевельнуться. А сзади Бориска с ножом!

– Пусти! Отпусти! – взывала Лидия страшно, рванулась бежать, но человек держал крепко. Держал, и прижимал лицом к ворсистой ткани пальто, и твердил испуганно:

– Лидия, ты что... Лидия...

– Ах, пусти! – завопила она снова, узнавая своего мужа и дивясь, зачем он ее держит, зачем хочет, чтобы Бориска ее убил, зарезал.

– Грабеж! – крикнул еще один голос. – Убийство! Стойте, сукины дети!

Муж оттолкнул Лидию, и не упала она лишь потому, что ее кто-то подхватил. Онаглянула – это был Аверьянов в шубе и без шапки, шапка вон валяется в снегу. Это он, Аверьянов, только что кричал про грабеж и убийство. А Никита Ильич тоже сорвал с себя шапку, распахнул пальто и выхватил из брючного кармана маленький «велодог», с которым никогда не расставался, потому что ненавидел сормовских бродячих собак, в изобилии носившихся по улицам.

– Стойте, стрелять буду! – закричал он азартно и кинулся за угол.

Негромкий выстрел, другой, третий...

Аверьянов кинулся вслед за ним, таща за собой Лидию, у которой снова отказали ноги.

За углом было пусто – не считая двух повозок. Ни единой живой души.

– Удрали, псы поганые! – Никита Шатилов обернул к Аверьянову оживленное, румяное лицо. – Кажется, одного я все же задел. Удрали-таки! Трое их было, я видел. А деньги наших рабочих я отбил! Вон мешки!

Он указал на два холщовых, запачканных снегом мешка с черными банковскими печатями. Мешки торчали из саней.

– Крепко вы их пужанули, Никита Ильич! – восхищенно заговорил Аверьянов, подходя к саням и волоча за собой, словно вещь, припавшую к нему, обессиленную Лидию. – Мал золотник, то есть «велодог», да дорог! Удрали и добычу бросили! Деньги целы. Вот же твари, а?! Что задумали! Грабеж банка!

Вдали залилась трель свистка не то дворника, не то полицейского.

– Проснулись! Поздно проснулись! – вскричал Шатилов, все еще размахивая револьвером. – А эти... Ну, твари! Твари и есть! Выследили, устроили все... И у кого хотели отнять? Ладно, у нас с вами, у акул капитализма, – он коротко, возбужденно хохотнул, – а то ведь у своего брата, у пролетария! Это же рабочим жалованье!

– А народу сколько положили без жалости! – Аверьянов поверх головы Лидии покосился на заполненный трупами возок. – А Филянушкин, бедняга, сам нарвался! Чего он вдруг побежал, как подстегнутый? Стоял, стоял на крыльце да ринулся. Или услышал что-то? И вот вам нате...

Лидия с трудом оторвалась от Аверьянова, с трудом повернула голову. Возле угла дома лежал человек в черном конторском костюме и розовом галстук. Тщательно причесанная голова его провалилась в подтаявший сугроб, а розовый галстук покрылся красными пятнами. Из плеча что-то торчало, что-то короткое, отливавшее тусклым, деревянным, полированным блеском, с выцарапанной буквой «М».

Это рукоять ножа, догадалась Лидия. Того самого ножа, который Бориска бросил в нее – но угодил в Филянушкина, выскочившего в ту минуту из-за угла. А если бы кассир не выскочил, здесь лежала бы она, Лидия!

Она хрипло вскрикнула и, лишившись сознания, рухнула рядом с Филянушкиным так внезапно, что ни Шатилов, ни Аверьянов не успели ее подхватить.

\* \* \*

«Киевский союз русских рабочих послал министру внутренних дел телеграмму с ходатайством не допустить постановки памятника Шевченко».

«По слухам, все губернаторы на запрос Министерства внутренних дел высказались за уничтожение охранных отделений».

*«Русские ведомости»*

«Франкфурт-на-Майне. Известная социалистка Люксембург, сказавшая на двух собраниях: «Если предполагается, что мы поднимем смертоносное оружие против наших французских или иных зарубежных братьев, то мы этого не сделаем», – приговорена за возбуждение к неповиновению законам в тюрьму на год».

*«Известия»*

\* \* \*

«Что же делать? Что мне делать? «– Что сделаю я для людей?! – сильнее грома крикнул Данко...»

Тамара Салтыкова прижала руки к груди, оглянулась. Маленькая комнатка, зеркало на стене, круглый столик, венский стул, кровать, комод, покрытый вышитой салфеткой. По стенам еще несколько вышивок в рамочках: вот кавалер с барышней в лодке, вот букет, вот семейство ярких мухоморов, вот разноцветный узор. На стуле – подушка, тоже вышитая – еще один букет. На комодике маленькое зеркальце на подставке, рядом лежит ярко раскрашенное деревянное пасхальное яичко, стоит рождественский гипсовый ангелочек с отломанным и подклеенным крылышком, рядом блюдце со шпильками и булавами, вазочка с шелковой розой... Какое мещанство! Как можно здесь жить, сознавая, что жизнь твоя проходит совершенно напрасно?!

«Но ведь я ничего не умею, только вышивать, да и то... – Тамара угрюмо посмотрела на барышню с кавалером, изделие своих рук. У барышни один глаз больше другого и рот какой-то кривой. Чего кавалер на нее тарашится, как пришитый? От такой уродины надо бежать подобру-поздорову! – Марина ходит на медицинские курсы, а я – нет. Марина смелая, а я крови боюсь. Я на курсах сразу в обморок упаду. Марина рассказывала про какую-то свою знакомую, которая пошла работать в деревенскую больницу и умерла от тифа. Счастливая... Я умею только вышивать и полы мыть. Когда у горничной Мани болит спина, я мою за нее полы. Мне нравится! Может, в поденщицы пойти, чтоб вместе с народом... чтобы как народ...»

Она вспомнила баб, которые приходили к Аверьяновым убираться перед Рождеством и мыть окна перед Пасхой, и представила себя поденщицей: с подоткнутым подолом, голыми ногами, наглым взором исподлобья. Услышала свой – нет, не свой! – визгливый, скачущий голос: «Да чо-эт мы, бабоньки, возимся-та, давайть-ка порезвей!»

Ох, как стыдно, как стыдно, Тамара Салтыкова... Стыдно так презирать народ, во имя свободы которого ты жаждешь совершить подвиг! Ты же любишь народ! Ты его жалеешь! Особенно женщин, которые приходят на скотный рынок с пустыми ведрами и униженно просят разрешения подоить коров, потому что не на что купить детям молока. Владельцы, между прочим, разрешают, ведь если корова долго стоит недоеная... Говорят, правда, что те бедные женщины потом торгуют этим молоком... Ну и что, не от хорошей ведь жизни! Это страдания народные, о которых ты читала такие возвышенные стихи на гимназическом вечере! А в поденщицы не хочешь... Не хочешь менять свой удобный образ жизни ради народа... Или просто боишься маму огорчить?

А Марина? Марина Аверьянова? Ей куда трудней пойти против отца-банкира, но она готова на это! «Ах, как бы мне стать такой же решительной, как она!»

– Отец – типичная акула капитализма, – говорит отчужденно Марина. – Он живет по принципу: «Рой другому яму, не то сам в нее попадешь!» Я сначала хотела отказаться от его денег, они ведь кровью пахнут, но они нужны партии!

– Так ведь ты говоришь, они кровью пахнут... – робко заикнулась Тамара. – Разве партии могут быть нужны такие деньги?

– Ничего, – усмехнулась Марина, – партии всякие деньги нужны. Просто нужны. Прежде всего – на помощь политическим заключенным. Конечно, отец иногда уверяет, что лишит меня наследства и вообще из дому выгонит, но я думаю, он умрет раньше, чем решится на это. Он ведь очень болен, ты знаешь? Партии долго ждать не придется.

Тамаре страшно слышать, как равнодушно Марина говорит о смерти отца. Даже если он – акула капитализма, все равно так нельзя! А впрочем... кто такая Тамара, чтобы осуждать Марину? Ничего не умеет, всего боится, в поденщицы не хочет... Конечно, она помогает Марине в дни ромашки и в дни василька, когда девушки ходят по Большой Покровской улице и собирают у прохожих деньги для чахоточных больных, но это такое незначительное дело!

– Я господина Аверьянова презираю, – с воодушевлением сказала Марина. – У него несколько костюмов, в то время как у рабочих... в то время как многие рабочие ходят в тряпье и живут впроголодь! У него ничего не выпросишь на благотворительность! Он вечно экономит, он такой скупой! Знаешь, когда я была маленькой девочкой, он иногда приходил почитать мне вслух свою любимую книжку. Она называлась: «Как живет и работает государь император». Я до сих пор некоторые строчки наизусть помню: «Император очень экономен и карандаши, которыми он работает, исписывает до конца, а остатки отдает на забаву своему августейшему сыну!»

– А это про какого государя было написано? – удивилась Тамара. – Ведь когда ты была маленькая, его высочество цесаревич Алексей еще не родился.

– Да какая разница, про какого царя! – вспыхнула раздраженно Марина. – Про Алексашку, про Николашку... Все они одним миром мазаны, эти Божьи по-ма-зан-ни-ки! – Она ехидно усмехнулась: – А ты что-то уж больно почтительно, ну прямо с придыханием говоришь: «его высочество цесаревич Алексе-ей...» Надо избавляться от этого низкопоклонства перед властью. Знаешь, что я тебе скажу? Если бы можно было выбирать родителей, я бы не выбрала господина Аверьянова себе в отцы. Мне противно, когда говорят: «У нее папашка миллионщик, счастливая!» Нашли тоже счастье... Да, родителей мы не выбираем, но правительство выбирать должны, должны! Сильнее, сильнее надо стучаться в ворота дворцов и уже не просить, а требовать, требовать своего, невзирая на запреты, аресты, ссылки, казни... Чем больше мучеников, тем крепче будут стоять стены нового здания!

– Какого здания? – испуганно спросила Тамара.

Марина глянула уничижительно:

– Новой России! Пыльная скука нашего старого дома должна быть уничтожена! Новый дом будущего мы построим вместе! Ты хочешь принять в этом участие, Тамара Салтыкова?

– Конечно! Конечно, хочу!

– Но тебе придется все бросить! – Марина широким жестом обвела комнатку. – Все эти тряпочки-шпилечки-кружавчики... – Тряхнула короткими волосами, глядя на Тамарины косы, оплетенные темно-синими атласными лентами. – Начала бы с малого, хотя бы подстриглась – долой эти предрассудки, закабаляющие женщину. Длинные волосы, сколько на них времени уходит, которое можно употребить с пользой для народа!

– Что ты! – всплеснула руками Тамара, на всякий случай перебрасывая косы за спину, чтобы Марине их не было видно. – Если я отрежу волосы, у мамы будет плохо с сердцем.

– Да неужели ты не понимаешь?! – сердито уставилась Марина. – Наша новая жизнь потребует непрерывных жертв от нас и наших близких! Не-пре-рыв-ных! Так что ты должна решить, ты должна выбрать, Тамара!

– Я решила, – кивнула Тамара. – Я готова на жертвы. Только... можно я начну с чего-нибудь другого, с какой-нибудь другой жертвы, а подстригусь... а подстригусь потом, ладно?

\* \* \*

На Варварке всегда сквозило, как в трубе. Летом, в жарницу-духотищу, это была истинная благодать, но сейчас встречный ветер бил мелким, колючим снежком. Вроде всего ничего – добежать от Благовещенской площади до площади Острожной, но Саша совсем замерзла. Особенно почему-то крутило вихри около маленькой часовни Варвары-великомученицы. И в этих вихрях лицо просто-таки одревенело.

«Опять буду как свекла вареная!» – в отчаянии подумала Саша. У нее и вообще щеки румяные (какая там интересная бледность, это не для Александры Русановой!), вдобавок в краску кидает по поводу и без повода, поэтому легко вообразить, как она будет выглядеть – смущенная да еще нахлестанная ветром... Ладно, лучше не думать об этом. Вдобавок к тому времени, как Саша встретится с *ним*, лицо успеет согреться и отойти. Сейчас главное – не замерзнет ли заветный нежный сверточек, который Саша прячет под шубкой на груди, а то ведь так и пробирает ветром... Нет, вроде не должен замерзнуть, они с Тамарой закутали *это* в «шелковую» бумагу от конфетной бонбоньерки. И Саше почудилось, будто до нее вдруг донеслось пряное смешение ароматов: сладкого – конфетного и полынного, горьковатого – герани. Ну да, заветное *это* – цветы... Как хорошо, что у Анны Васильевны Салтановой так пышно цветут алые герани, как хорошо, что Тamarочка такая добрая подружка, украдкой срезала в маменькином «зимнем саду» несколько веточек для Саши! Пойти с ней в Народный дом Тамара не смогла, обнаружили какие-то неотложные дела, но цветы пожертвовала. Просто беда этот провинциальный городишко: негде купить цветов! То есть имеется цветочная лавка мадам Маркизовой на Покровской улице, рядом с французским кондитерским магазином, но лавка эта – одна на весь город, и цены там такие, что не с Сашиними карманными деньгами идти туда. К тому же приказчица мамзель Аннет (Анна Саввишна Болезнова тож) отлично знает Русановых и непременно проболтается или отцу, который в лавке мадам Маркизовой частый клиент, или тете Оле, с которой вместе ходит на курсы домашних кондитеров, что Саша покупала цветы. Ну и начнется дома: кому да зачем? Конечно, можно наврать, мол, на именины какой-нибудь подружки. Тетя Оля – она, бедняжка, «доверчива, как Отелло», по словам брата Шурки, – глядишь, и поверит, но удивится, отчего Сашенька выбрала такой «не девичий» цвет. Барышням ведь положено дарить что-нибудь нежно-розовое или нежно-голубое, можно также белое. Но Саше сегодня нужен алый, только алый, непременно алый цветок! Отца, однако, так просто не проведешь, ему отлично известны значения цветов, он небось дарит своей мымре только красные розы – знак пылкой страсти!

Нет, в лавку мадам Маркизовой лучше не соваться. Да и зачем? Ведь герань у Саши – самого настоящего алого цвета, который означает искреннюю, нежную, всепоглощающую, от самого сердца идущую любовь, и если *он* не поймет значения подарка, то у него у самого совершенно нет сердца. Что тогда делать, Сашенька не знает и думать об этом не хочет. Пока она ждет и надеется, а что может быть лучше надежды и ожидания?!

Вдруг Сашенька замедлила шаги: на противоположной стороне Варварки мелькнула знакомая фигура. Пригляделась: да и правда, это бежит ее кузина (точнее, троюродная сестра) Марина Аверьянова! Куда она спешит? Неужто тоже в Народный дом? Хотя такими глупостями, как чтение стихов со сцены и драматические представления, Марина не увлекается. Неподалеку от Народного дома – энский острог (оттого и площадь так зовется – Острожная), а Марина состоит в комитете помощи политическим заключенным.

Нет, это кому только сказать! Дочь одного из богатейших людей Энска мало что учится на медицинских курсах и желает работать в земской больнице в самой что ни на есть глуши, так

еще и печется о политических! А ведь они преступники! Они мечтают о том, чтобы у богатых все отнять и бедным раздать! То есть, если эти самые политические своего добьются, Марина из завиднейших невест превратится в бесприданницу...

Впрочем, Марину это ничуть не волнует. Любовь для нее – тоже глупость, еще большая, чем стихи. И женихи глупость, и наряды... А ведь ей уже за двадцать! Еще чуть-чуть, и готовая старая дева! Но Марина только смеется, когда кухарка Русановых Даня при виде ее бормочет, вроде бы ни к кому не обращаясь: «Нет на свете несносней осенней мухи да девушки-вековухи!» Марина ничуть не несносная и очень даже добродушная, когда не рассуждает о политике и акулах-капиталистах, которые изгрызли спинной хребет рабочего класса. Тут она немедленно свирепеет. Но вы только посмотрите – как она одета! Никогда не увидишь ее в приличном платье, все какое-то безвкусное, неуклюжее, кое-как сшитое, а если нужно купить наряд для торжественного события, она возьмет то, что увидит в витрине, почти без примерки, и всему городу, на эту витрину насмотревшемуся, известно, во сколько это платье обошлось мадемуазель Аверьяновой. Марина, впрочем, на разговоры тоже не обращает внимания, как и на одежду. Вот и сейчас одета в какую-то неуклюжую куртку, сшитую домашней портнихой. Идет с книжками, засунутыми за пояс, в кепке, надвинутой на гладко зачесанные, стриженные волосы... Ходит саженными шагами, вон ее уж и не видно!

Ну и хорошо, что не видно. А то привяжется, станет, как всегда, упрекать, что Саша живет какими-то обветшалыми мещанскими ценностями, далека от нужд и чаяний угнетенного народа... А она ничуть не далека, например, всегда делает подарки Дане, дворнику Мустафе и прачке Матрене на день ангела. Конечно, это очень маленькие подарочки, ведь на большие у нее нет денег, ну и что ж, ведь главное – внимание!

Оскальзываясь на растаявшем и снова остекленевшем снежке, Саша кое-как перебралась через площадь и мелкой рысью добежала до Народного дома. На минуточку остановилась, чтобы прочесть афишу:

«Внимание обывателей Энска и окрестностей! Силами драматической труппы г-на Сумарокова в Народном доме дается представление для внимания поклонников истинного искусства. Будет поставлен отрывок из пьесы нашего знаменитого земляка М. Горького «На дне» (участвуют г-жа Черкизова – Наташа, г-жа Маркова – Настя, г-н Прошенко – Лука, г-н Грачевский – Бубнов и г-н Манин – Барон). Затем ведущий актер труппы г-н Вознесенский исполнит романс и прочтет стихи на животрепещущие темы. Конференс г-на Грачевского. Вход для учащихся свободный, с дам же и господ взимается плата: с первых по 50 коп., со 2-х по рублю, держателям абонементов по 25 коп. О скидках для инвалидов и малоимущих справиться можно в кассе. Весь сбор поступит на благотворительные цели. Начало в 6 часов вечера, просьба не задерживать начало».

Афиши Народного дома всегда были написаны затейливо, даже вычурно, и посетители не упускали случая посмеяться над «высоким штилем». Впрочем, сейчас Сашеньке было не до «штиля». Она безотрывно смотрела на одну фамилию, набранную жирным курсивом: «г-н Вознесенский», – и ей казалось, будто алый цветок, спрятанный под шубкой, ожил и затрепетал от волнения. словно бы почувал, кому он должен быть преподнесен!

Саша сдала шубку в гардеробную, осторожно, двумя пальчиками взяла свой заботливо увязанный сверточек, огляделась – да и ахнула. Мужчин было не слишком-то много, публика собралась в основном женская, но не это ошеломило Сашеньку: по фойе там и сям фланировали девицы с небольшими букетиками цветов. И это – Боже праведный! – это сплошь были герани, редко розовые, еще реже – белые, но в подавляющем большинстве именно того же алого, искреннего, *сердечного* цвета, что и у нее. Эти цветы предназначались артистам, но, хоть в афише значилось пять фамилий, можно было не сомневаться, что ни г-н Манин (лысый и толстый, с носом-пуговкой), ни г-жа Маркова (всегда сильно набеленная и нарумяненная, с неестественным, даже мертвенным лицом, – между прочим, супруга начальника сыскного

отделения, человека, несмотря на должность, весьма снисходительного и даже позволявшего жене время от времени появляться на сцене – правда, лишь в благотворительных спектаклях), ни г-жа Черкизова (ненавидимая подавляющим большинством женского населения города, в том числе и Сашенькой Русановой), ни г-н Грачевский (бывший премьер, а ныне актер без ампула, на подхвате) эти нежные герани не получают, потому что вручены они будут идолу девицких и дамских сердец – Игорю Вознесенскому. Внешность его была неотразима – он напоминал всех героев-любовников, вместе взятых: и блондинов, и брюнетов, поскольку был шатен...

– Пустырь – засоренное разным хламом и заросшее бурьяном дворовое место, – громко сказал в это время кто-то.

Батюшки, за размышлениями Саша и не заметила, как прошла в зрительный зал, причем не только прошла, но и села – в шестом ряду с краю! Более того – уже началось представление и на сцене стоит конференсье вечера, актер Грачевский, человек очень немолодой, но весьма благообразный, стройный, даже худой, с правильными чертами все еще красивого лица и чудовищными мешками под глазами (весь город знал, что Грачевский пьет запоем). Он не просто так стоял, а уже начал вести спектакль! С некоторых пор в Народном доме ввелась такая манера: не возиться с громоздкими декорациями, а обходиться одним-двумя стульями, столом, лавкой какой-нибудь, а в остальном зрителям приходилось положиться на свое воображение (буйное или нет – это уж кому как повезло): подробности места действия (ремарки автора) сообщал им конференсье. Зрителям приходилось смотреть на пустую сцену и убеждать себя, что они видят именно то, что говорит конференсье. Правда, Грачевскому охотно верили: не зря и отец Сашеньки, и тетя Оля уверяли, что он, пока не спился, был прекрасным актером и обаятельнейшим мужчиной, который оставлял неизгладимый след в сердцах дам и девиц. Теперь на смену ему пришел другой...

– В глубине двора – высокий кирпичный брандмауэр, – звучным, очень красивым, хотя и самую малость надтреснутым голосом произносил Грачевский с вкрадчивой, убедительной интонацией. – Он закрывает небо. Около него – кусты бузины. Направо – темная бревенчатая стена какой-то надворной постройки: сарая или конюшни. А налево – серая, покрытая остатками штукатурки стена того дома, в котором помещается ночлежка Костылевых. Она стоит наискось, так что ее задний угол выходит почти на середину пустыря. Между нею и красной стеной – узкий проход. В серой стене два окна: одно – в уровень с землей, другое – аршина на два выше и ближе к брандмауэру. У этой стены лежат розвальни кверху полозьями и обрубок бревна длиной аршина в четыре. Направо у стены – куча старых досок, брусьев. Вечер, заходит солнце, освещая брандмауэр красноватым светом. Ранняя весна, недавно стаял снег. Черные сучья бузины еще без почек. На бревне сидят рядом Наташа и Настя. На дровнях Лука, Барон и Бубнов...

Проговорив все это, Грачевский сделал легкий поклон в сторону названных лиц, показывая, что конференс завершён, однако со сцены не удалился, а присел рядом с Прошенко – Лукой и Маниным – Бароном. Теперь он был уже не конференсье, а Бубнов.

Г-жа Маркова, закрыв глаза и качая головой на манер китайского болванчика, нараспев произнесла первую реплику своей роли:

– Вот приходит он ночью в сад, в беседку, как мы уговорились... а уж я его давно жду и дрожу от страха и горя. Он тоже дрожит весь и – белый как мел, а в руках у него *леворверт*...

Нарочито неправильно выговорив это слово, она поджала губы и вытаращила глаза.

Г-жа Маркова, даже и в роли босячкой девицы Насти, была, по обыкновению, набелена и наругана сверх всякой меры, вдобавок напялила на себя какие-то мятые, поношенные кофту и юбку. Конечно, это была не ее собственная одежда: отказавшись от декораций, в Народном доме не зашли столь далеко, чтобы отказаться и от костюмов, тем паче что для пьесы «На дне» костюмы имелись подлинные, за немалые деньги купленные в свое время для премьеры у

самых настоящих босяков с Миллионки – тех, с которых Максим Горький и копировал своих ночлежников.

Когда Шурка Русанов (тогда еще совсем маленький) услышал о том, что актеры выходят на сцену в настоящих босяцких обносках, он наотрез отказался идти в театр: «Босяки вшивые, значит, и костюмы у них вшивые, а я вшей боюсь!» Шурка был чудовищно, просто патологически чистоплотен, слова «вши» и «микробы» были у него самыми ругательными, и тетя Оля прочила ему будущность бактериолога вроде Коха, Эрлиха или русских – Ценковского, Габричевского и Ильи Мечникова (она обожала читать медицинские журналы, потому что сама была несостоявшаяся медичка), потихоньку подзуживая, чтобы не шел после гимназии в Коммерческий институт, как того требовал отец, а ехал бы в столицу поступать на медицинский факультет университета. Шурке в столицу ехать ничуть не хотелось, он надеялся, что в Энске вот-вот откроется свой университет со своим медицинским факультетом, на что в свое время были пожертвованы деньги миллионером Кондратием Рукавишниковым. Однако со смертью последнего дело открытия университета что-то заглохло и было положено отцами города в самый долгий ящик...

– Ишь! Видно, правду говорят, что студенты – отчаянные... – раздалась реплика другой актрисы, и внимание Сашеньки переключилось на нее.

Рядом с нелепой Настей сидела Наташа – голубоглазая девушка с длинной русой косой и в кофте и юбке – вроде бы опрятных, простеньких, но столь туго облежавших фигуру, что это выглядело почти неприлично. Впрочем, сколько помнила пьесу Сашенька, эта Наташа была довольно скромная и приличная девушка (хоть и якшалась с неподходящей публикой). То есть отнюдь не роль требовала от Клары Черкизовой таких вызывающих одеяний. Но она вообще ходила только в переобуженных платьях, всячески выставляя себя напоказ. Рассказывали, будто платья эти она *берет напрокат*, что, с точки зрения всякой уважающей себя дамы, считалось верхом неприличия. Но с точки зрения мужчин, в платьях или без, там было что выставлять: роскошный бюст, тонюсенькая талия, крутые бедра. С точки зрения женщин, смотреть на «это бесстыдство» было весьма противно. Вдобавок Клара Черкизова была смазливая (мужчины называли ее красивой) блондинка (женщины называли ее белобрысой, крашеной выдрой), и слава о ней шла самая дурная. Иногда она пела модные песенки в «Венеции» и даже в «Белом медведе» – ресторанах, куда ни одна приличная женщина и шагу не шагнула бы. Из уст в уста передавалась смелая острота: дескать, господин Шмелев, управляющий «Венецией», сделал объявление, мол, девицы легкого поведения в его ресторан не допускаются и их просят не утруждаться попытками проникнуть туда, однако на эстраде у него целыми вечерами вертится самая настоящая блудница, которая совратила половину добропорядочных людей в городе и не собирается на этом останавливаться.

Насчет половины, очень может быть, сие преувеличено, зато Сашенька Русанова близко знала как минимум одного человека, который и впрямь был совращен Черкизовой, совершенно потерял от нее голову и в разум возвращаться не собирался. Как оно ни печально, это был Сашенькин отец Константин Анатольевич Русанов...

– И говорит он мне страшным голосом: «Драгоценная моя любовь...» – проговорила между тем Настя, и Сашенька несколько отвлеклась от своих печальных мыслей о несовершенствах собственного родителя. Спектакль-то шел своим чередом!

Интересно, а почему для постановки в Народном театре выбрали такую невыразительную сцену? Почему в ней не участвует Вознесенский, который играл Ваську Пепла? И как играл! В любом случае даже патетические вопли Сатина – его роль в спектакле исполнял господин Пряхин – о том, что человек – это великолепно, это звучит гордо, – было бы слушать приятней, чем смотреть на Черкизову.

– Хо-хо! – между тем с издевкой произнес Грачевский, он же Бубнов. – Драгоценная?

– погоди! – отмахнулся от него Манин-Барон. – Не любо – не слушай, а врать не мешай... Дальше!

– «Ненаглядная, говорит, моя любовь! – с некоторым завыванием произнесла Настя. – Родители, говорит, согласия своего не дают, чтобы я венчался с тобой... и грозят меня навеки проклясть за любовь к тебе. Ну и должен, говорит, я от этого лишиться себя жизни...» А леворверт у него – огромный и заряжен десятью пулями... «Прощай, говорит, любезная подруга моего сердца, решился я бесповоротно... жить без тебя – никак не могу». И отвечала я ему: «Незабвенный друг мой... Рауль...»

– Чего-о? – изумился Бубнов. – Как? Краул?

– Настыка! – захохотал Барон. – Да ведь... ведь прошлый раз – Гастон был!

– Молчите... несчастные! – вскочила Настя. – Ах... бродячие собаки! Разве... разве вы можете понимать... любовь? Настоящую любовь? А у меня – была она... настоящая! Ты! Ничтожный!.. – крикнула она Барону. – Образованный ты человек... говоришь – лежа кофей пил...

Конечно, постановка была Сашеньке совершенно неинтересна, однако она вдруг подумала, что госпожа Маркова в самом деле была хорошей актрисой, пока не покинула сцену ради выгодного брака. Даже сейчас она играла превосходно. Настю стало ужасно жалко... А вот Наташа выглядит неестественно, подумала Сашенька. Никакая она не актриса, эта Клара Черкизова! Вообще нет таланта! Что в ней нашел отец? Кстати, Шурка тоже считает ее красивой. Право, все мужчины ужасно глупы!

– Не хочу больше! Не буду говорить... Коли они не верят... коли смеются... – сердито сказала между тем Настя, но все же продолжила пылко: – И вот – отвечаю я ему: «Радость жизни моей! Месяц ты мой ясный! И мне без тебя тоже вовсе невозможно жить на свете... потому как люблю я тебя безумно и буду любить, пока сердце бьется во груди моей! Но, говорю, не лишай себя молодой твоей жизни... Как нужна она дорогим твоим родителям, для которых ты – вся их радость... Брось меня! Пусть лучше я пропаду... от тоски по тебе, жизнь моя... я – одна... я – таковская! Пускай уж я... погибаю – все равно! Я – никуда не поеду... и нет мне ничего... нет ничего...»

Настя закрыла лицо руками, а Сашенька почувствовала, что на глаза ее навернулись слезы. «Я пропаду от тоски по тебе... я погибаю...» Ну да, это словно про нее, это она пропадает, погибает от тоски по Игорю Вознесенскому!

Вдруг раздался неприятный голос Клары Черкизовой:

– Не плачь... не надо!

«А тебе какое дело?! – чуть не закричала Сашенька, смаргивая слезинку. – Хочу плакать – и буду!»

И спохватилась. Это не Клара Черкизова подала ей издевательский совет – это Наташа пытается успокоить Настю. А Барон хохочет:

– Детка! Ты думаешь – это правда? Это все из книжки «Роковая любовь»... Все это – ерунда! Брось ее!..

– А тебе что? – сказала Наташа. – Ты! Молчи уж... коли бог убил...

Лука взял Настю за руку:

– Уйдем, милая! Ничего... не сердись! Я – знаю... Я – верю! Твоя правда, а не ихняя... Коли ты веришь, была у тебя настоящая любовь... значит – была она! Была! А на него – не сердись, на сожителя-то... Он, может, и впрямь из зависти смеется... у него, может, вовсе не было настоящего-то... ничего не было! Пойдем-ка!..

И увел Настю в глубину сцены.

– И чего это человек врать так любит? – хмыкнул Бубнов. – Всегда – как перед следователем стоит, право!

– Видно, вранье-то приятнее правды... – задумчиво сказала Наташа. – Я – тоже...

– Что – тоже? Дальше?! – насторожился Барон.

– Выдумываю... – пояснила Наташа. – Выдумываю и – жду...

– Чего? – допытывался Барон.

Наташа смущенно улыбнулась:

– Так... Вот, думаю, завтра... приедет кто-то... кто-нибудь... особенный... Или – случится что-нибудь... тоже – небывалое... Подолгу жду... всегда – жду... А так... на самом деле – чего можно ждать?

Она замерла, уставившись в зал, словно там искала ответа на свой вопрос. И другие актеры тоже замерли в тех позах, в которых их застала реплика Наташи. И они о чем-то вопрошали зрителей взорами...

В эту минуту из-за кулис послышался проникновенный баритон:

Камень на шее и руки в оковах —  
Вот моя жизнь. Я устал.  
Я истомился под гнетом лишений суровых,  
Я в бездну отчаянья пал.

С этими словами на сцену вышел стройный молодой человек с мрачным взглядом красивых темных глаз. Лицо его было бледно... Сашенька почувствовала, что от ее лица тоже отхлынула кровь.

– Вознесенский! – раздался из зала восторженный девичий крик. – Душка! Обожаю!

И – аплодисменты, визг!

Ну да, это был именно тот человек, из-за которого театр нынче весь пропах геранью: премьер драматической труппы Игорь Вознесенский. У него была внешность типичного идола девиц и дам, легко оставляющего рваные раны в их нежных сердцах и привыкшего к своей баснословной популярности.

Вознесенский поклонился со скромной улыбкой, как бы сам дивясь восторгу публики, а потом поднял руку, призывая к тишине. И она явилась, словно по мановению волшебной палочки, так что Вознесенский смог дочитать стихи:

Помощи! Помощи! Руку подайте мне, братья!  
Целое море огня —  
Жгут мою душу обиды, сомненья, проклятья, —  
Други, спасите меня!  
Освободите от ига и дайте свободу,  
Дайте мне место в бою!  
Дайте лишь волю певцу – я родному народу  
Райские песни спою.  
Мне их с младенчества звездные ночи шептали,  
Пел мне их солнечный луч.  
Мне их под говор ручья хоры птиц щебетали.  
Гром их гремел из-за туч.  
Я не забыл эти песни, я помню, я знаю, —  
Хлынут потоком оне.  
Только бы воля моя... я в тюрьме погибаю...  
Да помогите же мне!..

С надрывом выкрикнув последние слова, он бессильно уронил темно-русую голову – и тотчас в нее ударились брошенная чьей-то меткой рукой герань. Цветок упал к ногам актера, но несколько алых лепестков запутались в его кудрях. Словно кровью их обагрили!

Что тут началось... Цветы полетели со всех сторон, и Сашенька, которая прежде стеснялась развернуть свой сверточек, сейчас терзала его ногтями, спеша и проклиная себя за то, что не сделала этого раньше, а теперь не успеет бросить герань, выразить свои чувства.

Вознесенский не поднимал цветов, стоял неподвижно, поникнув головой, – такой бледный, такой красивый... У Сашеньки слезы подкатили к горлу от невероятной любви, которую вызывал в ней этот человек. И тут на сцене появилась... Марина Аверьянова! Своими тяжелыми саженными шагами она промаршировала прямо по цветам, давя их, и крикнула в зал, перекрывая визг поклонниц:

– Героиня пьесы Горького спрашивает, чего можно ждать? Вам ответили на это стихи, которые прочел господин Вознесенский! Наш народ жаждет свободы, наш народ ждет конституции! Наш народ просит, молит – помогите же мне! Освободите от ига! Всем известно, что сбор от этого концерта пойдет для помощи политическим узникам, томящимся в нашем остроге! Комитет помощи благодарит вас! Ура!

Она захлопала в ладоши, настойчиво глядя в зал своими карими, чуть навывкате глазами, однако в поддержку раздались два-три жалких хлопка. В зале воцарилось унылое молчание. И Сашенька могла бы держать пари, что все зрительницы устали туда же, куда смотрит она: на герани, раздавленные неуклюжими ногами Марины, обутыми в высокие ботинки на шнурках.

Опытный конферансье Грачевский мигом почувствовал настроение публики, вышел, нет, можно сказать, выскочил из образа Бубнова и явился на помощь бестактной мадемуазель Аверьяновой:

– Между тем, господа, наш концерт продолжается! Сейчас вы услышите романс «Обман». Стихи и музыка Веры Порошиной. Романс исполнит... – Он сделал интригующую паузу и выкрикнул: – Исполнит Игорь Вознесенский!

Зал снова ожил. Вознесенский выпустил в публику залп огненных взглядов, и зрительницы застонали от восторга.

На сцене появилась маленькая, пухленькая, неряшливо одетая дама – местная знаменитость Вера Порошина – и вручила актеру гитару. На лице поэтессы блуждала сомнамбулическая улыбка – совершенно такая же, как на лицах всех зрительниц. Вознесенский пробежал опытными пальцами по струнам, одновременно посматривая исподлобья в зал и мельком улыбаясь. На миг его глаза встретились с глазами Сашеньки, и ей почудилось, что от счастья у нее остановилось сердце.

«Он посмотрел на меня! Он меня заметил! Если сейчас бросить цветок, он поймет, что это от меня!» Она нервно скомкала оберточную бумагу, и та громко зашуршала. Сидящая рядом барышня посмотрела на Сашеньку с ненавистью: то ли из-за этого беспардонного шуршания, то ли оттого, что Сашенька держала в руках цветок, в то время как цветок барышни уже был брошен Вознесенскому и в числе прочих погиб под ногами Марины Аверьяновой. Кстати, Марина уже ушла со сцены, передавав оставшиеся герани. Разумеется, она делала это не со злости. Просто никогда не смотрела под ноги, все в небеса таранилась, как говорила все та же русановская кухарка Даня.

Бросать цветок, впрочем, уже было поздно: Вознесенский взял звучный аккорд и запел:

Наша жизнь – заколдованный круг,  
Измениться фатально не может,  
Но мы ждем, что какое-то «вдруг»  
Из кольца убежать нам поможет.

«Теперь те, кто еще не бросил свои цветы, будут умнее, – размышляла Саша. – Они сами кинутся к *нему*, чтобы отдать букетик из рук в руки, чтобы *он* взглянул прямо в глаза, может быть, что-то сказал – мерси, мадемуазель, или еще что-то, пожал бы пальчики... Нет, я не хочу быть одной из многих, я хочу быть для него единственной! И я знаю, что нужно для этого сделать!»

Нас измучил холодный туман,  
Мы с тобою наивны, как дети,  
И насмешливо-наглый Обман  
Расставляет нам легкие сети.

Голос актера лился со сцены, наполнял зал. А Сашенька осторожно поднялась и принялась пробираться к выходу. Было ужасно, просто невыносимо жаль уходить от звуков чарующего голоса, зрительницы на нее оглядывались, как на пациентку знаменитого доктора Кащенко<sup>13</sup>: что это за идиотка, которая уходит с концерта самого Игоря Вознесенского?! Но Сашенька славилась своим упрямством, и если что-то попадало ей в голову, выбить оттуда сие было практически невозможно. Оглянувшись на предмет своего обожания, словно (как писали в старинных чувствительных романах) желая навеки запечатлеть его образ в своей памяти, она вышла из зала и на цыпочках (в уголке на бархатном потертом стуле подремывал старый и столь же потертый на вид капельдинер, который, конечно, заставил бы ее воротиться в зал, если бы проснулся) прокралась через фойе к боковой укромной двери, ведущей – это мало кому было известно, однако Сашеньке как-то показал заветную дверку брат Шурка, который знал в Народном доме все ходы и выходы, поскольку дружил с сыном директора, – прямиком за кулисы. Сашенька надеялась пробраться туда и там подождать ухода своего божества со сцены. Тут они окажутся один на один, и Сашенька сможет не только передать ему цветок и оказаться замеченной им, но, быть может, что-то прошептать, подходящее к случаю... А что прошептать, кстати? Какие-нибудь стихи, вернее, строки стихов о любви? Но до нее доносился прекрасный голос Вознесенского, и как-то ничто не взбрело в голову, кроме каких-то отрывков и обрывков. Чепуха и не к месту! Невероятно красивый голос Игоря Вознесенского мягко выбивал из бедной Сашенькиной головы всякое соображение:

Мы к Обману охотно идем  
И в красивую сеть попадаем;  
Ведь так долго напрасно мы ждем  
И так долго безумно страдаем.

И мы верим: придет это «вдруг»,  
Мы простимся с печалью ненастной,  
И, прорвав заколдованный круг,  
Станет жизнь бесконечно прекрасной.

«А *вдруг* он обратит на меня внимание? – с замиранием сердца думала Сашенька. – Нет, *вдруг* он уже обратил на меня внимание, когда я еще сидела в зале, и теперь вспомнит меня? И снова посмотрит на меня так, как умеет смотреть только он, он один, этими своими черными, сверкающими, удивительными глазами? Посмотрит, улыбнется – и... Нет, я и слова не смогу сказать! И не надо говорить! Я отдам ему записку!»

---

<sup>13</sup> Известный психиатр долгие годы работал в провинции и только потом переехал в Москву. (Прим. автора.)

Сашенька сунула руку в карман. Ну да, вот здесь лежит сложенный вчетверо листок из тетрадки в клеточку. Эту записку она приготовила еще месяц назад – мечтала передать ее Вознесенскому во время его выступления в клубе Коммерческого училища. Там не получилось, и с тех пор Саша таскала письмо везде и всюду, надеясь на удобный случай.

Кажется, он вот-вот выпадет, этот случай!

И смеется над нами Обман,  
Что легко попадаем мы в сети.  
Нас измучил холодный туман,  
Мы с тобою наивны, как дети...

Аплодисменты! Сейчас он придет... Саша перестала дышать. Нет, Грачевский объявил еще какой-то романс, ей не слышно какой, но зал в восторге, судя по дамскому визгу.

Сашенька нетерпеливо перевела дыхание. Ладно, она еще подождет...

– Вы?! – раздался рядом голос, показавшийся ей знакомым. – Что вы здесь делаете, дитя мое?

Она испуганно обернулась и увидела высокомерно уставившуюся на нее... Наташу. Сиречь Клару Черкизову в одежде босяцкой девахи.

\* \* \*

«Циркуляр министра народного просвещения Кассо о приеме евреев в средние специальные учебные заведения по жребию был издан настолько секретно, что явился неожиданным даже для высших чинов Министерства народного просвещения».

«Лондон. Учрежденная миллиардером Карнеги библиотека в Норсфилде, близ Бирмингема, уничтожена пожаром, приписываемым суфражисткам».

«Из Таврического дворца передают, что в недалеком будущем у председателя совета министров И.Л. Горемыкина состоится «чашка чая», на которую будут приглашены члены Государственной думы и Государственного совета».

*Санкт-Петербургское телеграфное агентство*

\* \* \*

– Господин начальник, там какой-то человек желает вас видеть.

Георгий Владимирович Смольников, начальник сыскного отделения Энской полиции, откинулся на спинку стула:

– Что ему нужно?

– Не говорит.

– Ну, просите.

Конечно, после получения предостережения от начальника Московского охранного отделения следовало быть осторожнее. Полицейстер Комендантов выставил на подступах к своему кабинету посты и на улицу выходит не иначе, как под охраною. Однако начальник сыскной полиции Смольников считает фигуру своего шефа весьма одиозною и подражать ему не желает из принципа. К тому же, рассуждает Смольников, кому он особенно помешал? Кому

нужно на него бомбу тратить? Добро бы зажимал политических, а то всего-навсего чистит город от всякой уголовной швали. С помощью самих же горожан, просим заметить! Бывало так, что человек ненароком узнавал о готовящемся грабеже или другом уголовно наказуемом деянии и норовил донести в сыскное. Смольников прекрасно понимал, что делается это отнюдь не от заботы о чужом добре (тем паче – о добре государственном!). Как правило, задумают двое ковырнуть чужое добро, но станут делить шкуру неубитого медведя – и поспорят. Один поделщик пойдет да и донесет на другого: коли мне не достанется, так чтоб и тебе не досталось! А как-то раз было, что оба соучастника с небольшим промежутком времени донесли друг на дружку!

Ну что ж, фискалы во все времена были опорой государственного строя, а потому Смольников такими людьми не брезговал и привечал их. Что ж поделаешь, работа такая! Может, и сейчас очередной добровольный фискал явился? Как не принять!

Тем временем помощник отворил дверь, и в кабинет степенно вошел человек, по виду купчина из провинции. Шуба на нем была, крытая черным сукном, шапку держал в руках. Шапка обыкновенная, пирожком, а шуба... Что-то в ней не так было в этой шубе, только Смольников не мог понять, что именно не так. Понял только, что не ошибся, – дядька явно собирается на кого-то наябедничать.

Посетитель обшарил глазами стены – найдя образ, перекрестился и, отвесив хозяину кабинета чуть ли не поясной поклон, нерешительно шагнул к столу.

Смольников указал на кресло:

– Присаживайтесь.

– Ничего-с, мы и постоим-с.

– Да уж что стоять-то? – удивился Смольников. – Садитесь, садитесь же!

Посетитель сел-таки на край кресла и, разглаживая свою рыжеватую лопатообразную бороду, стал глядеть на высокое начальство кроткими голубоватыми глазками.

Смольников не торопил, хотя не сказать чтобы такое уж большое удовольствие доставлял ему распространившийся по кабинету своеобразный и довольно-таки сложный запах: какая-то смесь дегтя, пота, чая и черного хлеба.

«Нет, этот про готовящийся грабеж не сообщит, – подумал Смольников. – Этого купчину небось самого где-то грабанули. А может, я ошибаюсь? Все-таки странная у него шуба... Чем же она странная такая?»

Молчание между тем затягивалось.

– Ну, что скажете, сударь? – подал наконец голос начальник полиции.

Купец откашлялся:

– Мы сами из Выксы. Трофим Григорьевич Кошкин. Кошкин, да-с. Промышляем по торговой части. Барышей громадных не зашибаем, но и Бога гневить нечего: кое-как кормимся. Вот прибыл, значит, в Энк. По делишкам нашим пометался, зашел в трактир в Канавине. Знаете небось? «Самокатский», на Самокатской площади стоит. Конечно, всякого я наслушался про здешние трактиры: мол, как липку тебя обдерут, обсчитают, сдачи не дадут, но чтоб такое... – И Кошкин принялся долго, сокрушенно качать головой.

«Много ты, дядя, знаешь про «Самокатский трактир», – подумал Смольников. – Ишь, обсчитали, сдачи не дали... Еще скажи, чаю недолили! А не хочешь под сладкое пение «арфисток»: «Пой, ласточка, пой, сердцу дай покой!» быть зарезану, дочиста обобрану и под шумок спущену в Волгу-матушку? Очень славились одно время такими шуточками «Самокатский трактир» и соседствующие с ним «Самокатские нумера»! Куда ж ты приперся из своей Выксы, почтеннейший? Зачем в самое тырло приперся, а?»

– Да вы говорите, говорите, – поощрил посетителя Смольников, подцепляя двумя пальцами часовую цепочку и принимаясь с ней этак небрежно поигрывать: это был если не прямой

намек – время, мол, тянуть не следует, люди здесь занятые сидят, – то уже подступ к намеку точно.

Купчина продолжал качать головой. Тогда Смольников опустил пальцы в жилетный карман и нажал на кнопку сбоку часов. Они были дорогие, марки «Братья Одемар», а значит, с репетиром, то есть с боем. Раздался мелодичный звон.

Купчина вздрогнул и головой качать перестал:

– В раздевальной малый мне говорит: «Снял бы, купец, шубу, сопреешь! Здесь оставь!» Ага, думаю, оставлю тебе – ты и стащишь. Что ж мне, по морозу потом в одной поддевке бегать? За шубу небось двести целковых плачено! Как-нибудь уж не сопрею.

«Так, понятно, – кивнул сам себе Смольников. – Шубу он сохранил, зато что-то другое стряслось... Нет, все-таки странная у него шуба какая-то!»

– Сел я за стол, заказал чайку, – продолжал между тем купец из Выксы Кошкин. – Выпил чайник, выпил другой – ну и взопрел, конечно. Невмоготу стало в шубе-то! Думаю, сниму ее и под себя положу, целей будет, никуда она из-под меня не денется.

«Не делась, это я вижу», – подумал Смольников и наконец вынул часы. Но переднюю крышку, где был циферблат, пока не раскрыл, откинул только заднюю, где было отверстие для часового ключика. Вставил ключик и принялся заводить механизм.

Купец испуганно заморгал, шныряя взглядом с этих часов на лицо начальника (понял, что пора закругляться!), и зачистил:

– Так мне хорошо раздевшись стало, что и словами не передать! Выпил я еще парочку чайников, рассчитался, не пожалел гривенника расторопному половому... Встаю, чтобы облачиться в шубу, и вдруг...

Он не договорил, подскочил и с ужасом уставился на телефон, который стоял на столе у начальника сыскного отделения. Телефон разразился столь оглушительной трелью, что и сам Смольников вздрогнул, как вздрагивал всякий раз, стоило аппарату зазвонить.

Замечательная вещь – телефонизация. Однако отчего же это никто не придумает, как звон не столь громким сделать?! Дома у Смольникова Павла, нянька его детей, приспособилась класть на аппарат подушку. Результат получился самый благой, нервически дергаться семья Георгия Владимировича перестала. Однако на столе начальника сыскного отделения подушка смотрелась бы неуместно...

Приходилось терпеть. Он терпел, но к оглушительному трезвону привыкнуть не мог, а уж что делалось с посетителями...

Купец перекрестился. Смольников усмехнулся:

– Извините великодушно. – Взял трубку: – Слушаю, Смольников!

– Георгий Владимирович, это Аверьянов тревожит вас, – раздался взволнованный голос. – «Волжский промышленный банк».

– Здравствуйтесь, Игнатий Тихонович. Как же, узнал вас. Весьма рад слышать. Чем могу служить?

– У нас беда. Напали на кассиров, которые собирались везти деньги в Сормово.

– Что?!

Вот оно, о чем предупреждали из Москвы! Или обычный грабёж?

– Убитые есть?

– Есть. Трое. Приезжайте или пришлите кого.

– Еду, Игнатий Тихонович, сам еду немедленно!

Смольников вскочил, надавил кнопку электрического звонка на столе:

– Автомобиль к подъезду! Оперативников собирайте. Вооруженное ограбление.

– Извините, – затоптался в дверях помощник, – его высокоблагородие господин Комендантов отбыть изволили на автомобиле...

– Куда? К губернатору, что ли?

– Да нет, в ресторан, в «Белый медведь»...

– Надолго?!

– Сказали, пообедают и воротятся...

А, черт...

– Давно отбыл господин полицмейстер?

– Да уж второй час пошел...

Ну да, его высокоблагородие обедали с чувством, с толком, с расстановкой. Но почему при этом нужно держать возле «Белого медведя» служебную машину?!

Смольников снова мысленно чертыхнулся, выбегая из-за стола:

– Давайте сани одноконные, сам буду править! Ветрогона пусть запрягут! Или его тоже кто-то забрал?

– Никак нет-с! – уже из коридора крикнул помощник.

– На том спасибо, – буркнул Смольников, оглянув сидящего в кресле купца Кошкина. И запнулся, глядя на его шубу...

Так вот оно что! Как же он раньше не сообразил!

– А как же... дельце мое-с? – оторопело забормотал Кошкин. – Шуба-с? Как же-с?

– Ничего не поделаешь, – участливо поглядел на него Смольников. – На шубу пришейте новый воротник – взамен срезанного. А в следующий раз, в самом деле, оставляйте ее у швейцара! Целее будет!

И выбежал из кабинета.

\* \* \*

Вот уж кого Сашенька меньше всего желала бы видеть, так эту Клару!

Конечно, надо было поздороваться или хотя бы просто промолчать, однако Саша терпеть не могла фамильярности, тем паче – этого пренебрежительного «дитя мое». Тоже нашлась еще маменька!

– Кому дитя, а кому и Александра Константиновна! – проговорила она дерзко.

– Ну и кому же это, мне, что ли? – фыркнула Клара, глядя на нее сверху вниз (они были одного роста, однако *эта особа* как-то умудрялась смотреть на Сашеньку свысока). – А цветочек – тоже мне? – И она протянула руку к слегка помятой, но еще вполне свежей Сашиной герани.

– Не троньте! – вспыхнула та.

– А что такое? – вскинула брови Клара. – Не мне геранька предназначена, да? Тогда кому же?

Сашенька и не хотела, а побагровела. Говорят, мамочка-покойница заливалась краской так же стремительно. Интересно, почему в наследство единственной дочери она оставила только эту способность – краснеть до ушей, до макушки, до кончиков волос?!

– Ах, какая же я недогадливая! – издевательски протянула Клара. – Вознесенскому цветочек принесли, да? Божественному нашему Игорю Владимировичу? Но неужели только цветы? Неужели нет записочки? Этаким нежной записюлочки: «Люблю, обожаю, жить без Вас, без Ваших прекрасных глаз, без звуков Вашего голоса не могу...» И, конечно, каждое слово или волнистой линией подчеркнуто, или двумя чертами, или выделено жирным, и восклицательных знаков не оберешься...

Сашенька похолодела. Каким образом Клара умудрилась заглянуть в ее записку?! Ведь там все именно так, в точности! Нет, не могла Клара этого знать, это всего лишь ее догадки... Черт, до чего же обидно-верные догадки!

– Не ваше дело! – скрипучим от ненависти голосом выдавила Сашенька и отвернулась от Клары, сделала шаг в сторону. Однако та легким, стремительным движением оказалась на ее пути.

– Конечно, не мое, – сказала довольно миролюбиво. – Но вы хоть и дурно воспитанная девчонка, а все же дочь человека, с которым я... – Клара сделала выразительную паузу и продолжила: – С которым я, так сказать, коротко знакома, значит, вы мне не совсем чужая, а потому я должна заботиться о вас, хотите вы этого или нет. Мой вам совет, Шурочка...

Сашу передернуло. Она не выносила, когда ее называли Шурочкой! Сколько она себя помнила, она всегда была Сашей, Сашенькой, а Шуриком, Шуркой был брат. *Шурочек*, мужского ли пола, женского ли, в семье Русановых категорически не имелось!

Клара этого, очень может быть, и не знала, но Саша была убеждена, что злобредная актрисулька назвала ее ненавистным именем нарочно, с издевкой! Она уже открыла рот, чтобы запальчиво одернуть *эту особу*, однако следующие слова Клары заставили ее онеметь:

– Мой вам совет – оставьте эти ваши бредни! Вознесенского голыми руками не взять. Он не для вас, не для таких наивных дурочек, как вы. «Твой друг не дорожит неопытной красотой, незрелой в таинствах любовного искусства», – процитировала она Батюшкова с той легкостью и свободой, с какой способны вставлять в речь стихотворные отрывки только актрисы. – Возвращайтесь к своим гимназистикам, к этим, как их там... Левушкиным, Малининым, Пустовойтовым... Аксаковым! Вот именно – к Мите Аксакову возвращайтесь, к тем самым берегам, куда его влечет неведомая сила! – Клара издевательски хохотнула, по своему обыкновению. – А Игорь, повторяю, не для вас, он уже занят – занят давно и прочно.

В любую другую минуту Сашенька, наверное, упала бы в обморок от возмущения той бездной предательства, которая внезапно разверзлась перед ней. Эта смешная, полудетская история с Митей Аксаковым... Три года назад, Саша тогда еще в гимназию ходила, отцу вдруг взбрела фантазия учить дочку английскому языку. Гимназических французского и немецкого ему, видите ли, стало недостаточно, к тому же английский начал входить в моду. Русанов тогда был частным поверенным, с государственной службой на время расстался<sup>14</sup>, а оттого доходы его были хоть нерегулярны, но порою весьма обширны. Вот и в то время случился у отца немалый гонорар, который позволил ему нанять к Сашеньке настоящую *мисс*, одну из немногочисленных англичанок, ветрами судеб занесенных в Энск и прочно застрявших там. Дважды в неделю, кроме часового урока в классной, мисс Хоуп должна была сопровождать Сашу на каток (дело происходило зимой), а по пути и во время катания (что мисс, что Саша были заядлыми конькобежками) ей было предписано вести с ученицей беседы на житейские темы и помогать таким образом постигать разговорный английский язык. Однако из этой затеи мало что вышло. Как раз вплотную к Чернопрудному катку стоял дом, куда приехал на Рождество к отцу Митя Аксаков, молодой прапорщик, прошлой весной выпущенный из юнкерского училища, и стоило Мите увидеть на льду Сашеньку в компании с мисс Хоуп, как он торопливо набрасывал шинель, нахлобучивал фуражку, надевал коньки и бросался на каток. Он отвешивал поклон мисс Хоуп и шептал Сашеньке, перефразируя Пушкина:

– Невольно к этим берегам меня влечет неведомая сила! – а потом хватал ее под руку и начинал нарезать круги по льду, предоставляя мисс Хоуп вести беседы с самой собой, на английском или на русском языке – на ее собственное усмотрение. Как-то раз такой урок катания на коньках нечаянно имел возможность наблюдать отец – и страшно рассердился. Неведомо, что его вывело из себя сильнее – бездарная трата «кровью и потом заработанных денег» (отец обожал такие экспрессивные выражения... а деньги, к слову, уже подходили к концу...) или флирт дочери с сыном русановского антагониста и противника, прокурора Акса-

---

<sup>14</sup> В описываемое время адвокаты, занимавшиеся частной практикой, назывались частными поверенными, а состоящие на государственной службе – присяжными поверенными. (Прим. автора.)

кова (дети адвокатов и прокуроров порою принуждены повторять судьбу злосчастных отпрысков Монтекки и Капулетти!), однако походы на каток были категорически запрещены, а мисс Хоуп получила расчет. Господин Аксаков вскоре переехал в Москву, товарищем городского прокурора; Митя иногда возвращался в Энск, к родственникам, но за Сашенькой более не ухаживал: сделался женихом Вари Савельевой, однако у Русановых еще долго посмеивались над пресловутыми *берегами*, куда когда-то кого-то влекла неведомая сила. Но это были домашние, добродушные насмешки, это была домашняя тайна, и то, что она вдруг стала известна пошлой актрисульке, отцовой содержанке (значит, он проболтался, он насмехался над дочерью вместе с *этой особой!*), потрясло Сашеньку до глубины души... Вернее, потрясло бы, если бы она не испытала куда более сильное потрясение от последних слов Клары: «А Игорь, повторяю, не для вас, он уже занят – занят давно и прочно!»

*Не для вас... занят...* – эти ужасные слова загорелись перед мысленным взором Сашеньки, словно огненные «Мене, текел, фарес!» перед взором нечестивого царя Валтасара.

Она сейчас умрет от горя! Ну, может, и не умрет, но в обморок наверняка хлопнется... Вот потеха будет для Клары Черкизовой! Только эта мысль помогла Сашеньке удержаться на ногах, не пошатнуться. И она даже смогла поглядеть в глаза Кларе и пробормотать трясущимися губами:

– Кем же занят? Вами, что ли?

– Ну, я этого не говорила! – хохотнула Клара.

– Не говорили, но подумали! – задыхаясь от ревности, крикнула Сашенька. – Да-да, я убеждена, что вы распутная женщина! Но коли так, как же мой отец?

– А при чем тут ваш отец? – Клара чуть прищурилась. Показалось или в самом деле в ее глазах мелькнуло беспокойство?

Ага, задело?! Сашеньке мигом стало чуточку легче.

– Да, наверное, будет при чем, – пожалала она плечами и даже залюбовалась собой: так по-дамски, по-взрослому, так победно это у нее получилось. – Вот как скажу ему, что вы изменяете ему с Вознесенским!

– А, так вы озабочены тем, чтобы любовница вашего отца была высокоморальная женщина? – с прежней издевкой хохотнула Клара. – Ну так зря будете стараться. Ваш папенька, как и большинство мужчин, получает удовольствие только в объятиях распутниц, его тошнит от так называемых приличных женщин, он с ними со скуки помирает. Конечно, живя в одном доме с такой прекраснородушной занудой, как ваша тетушка, немудрено рехнуться с тоски. Вы что, предпочли бы, чтобы господин Русанов завязал роман с этой благочестивой старой девой, которая всю жизнь влюблена в него, как курица, и вот уже почти двадцать лет мечтает затащить его в свою постель, да все напрасно?

Сашенька несколько мгновений стояла столбом, ушам не веря. Господи всеблагий, что она такое несет, эта распутница, эта куртизанка?! Как она смеет даже намекнуть, чтобы отец и тетя Оля... Нет, это невозможно!

– Вы пошлая, вы насквозь вульгарная, вы низко, очень низко падшая женщина! – наконец выговорила Сашенька, давась ненавистью. – У вас одно на уме! Думаете, если вы *такая*, то и все *такие*? Но знаете что? Пусть отец завяжет роман с кем угодно, только бы о вас больше не слышать! Только бы вас рядом с ним больше не было!

– Ну и глупо, – спокойно пожалала плечами Клара. – Глупо с вашей стороны так рассуждать. Если ваш отец меня бросит, Вознесенский уж точно вам не достанется. Он вот у меня где будет! – показала она маленький, крепкий кулачок. – Не видать вам его как своих ушей! Наоборот, вы должны позаботиться о том, чтобы ваш отец повел меня под венец, и тогда Игорь будет свободен... А вы просто маленькая дурочка и не понимаете своей выгоды.

– Может быть, я и дурочка, – прошипела Саша, – но я не торгую своим отцом!

– Ах, не торгуете? – Клара насмешливо хмыкнула. – Скажите, какие мы гордые, ну просто-таки инфанта испанская в изгнании! Но коли так, нечего вам здесь делать, да и мне тратить на вас время впустую недосуг! Убирайтесь отсюда подобру-поздорову, *Александра Константиновна!*

Она выговорила это имя с выражением такого презрения, что Сашеньке почудилось, будто Клара ей в лицо кипятком плеснула. И пока она отпыхивалась, Черкизова вдруг выхватила у нее из рук заветную герань, воткнула себе в волосы, сделавшись вмиг почему-то страшно похожей на испанку – хотя еще неизвестно, бывают ли на свете такие белообрывые испанки! – а потом, с силой вцепившись Сашеньке в плечи, развернула ее к двери и вытолкала в фойе.

Капельдинер по-прежнему дремал на своем облезлом бархатном стуле, однако вскинулся на шум, суетливо заморгал подслеповатыми, заспанными глазами.

– Полно спать, Иван Леонтьевич! – прикрикнула Клара. – Слышали приказ директора – никаких восторженных барышень за кулисами? А вы даже не заметили, как она туда пробралась! Сами знаете, что господин Вознесенский терпеть не может этих глупых поклонниц. Коли не хотите, чтобы вас уволили, гоните ее вон, поняли?

И Клара захлопнула за собой дверь.

– Извольте удалиться, мамзель, – поджимая губы и изо всех сил пытаясь казаться строгим, велел капельдинер. – Не то я позову пожарного!

– А пожарного-то зачем? – вяло удивилась Сашенька. – Вы боитесь, я что-нибудь подожгу, что ли?

– Конечно, нет, – с достоинством сказал капельдинер. – Однако же я не могу вас силой выдворить на улицу! А пожарный – он все же какая-никакая, а власть...

Сашенька покачала головой. Наверное, в его словах был какой-то смысл, только, к несчастью, она не могла его уловить. Она как-то вдруг ужасно устала от этой безобразной сцены. И так жалко было отнятой герани, что хотелось плакать. Да не просто плакать, а рыдать в голос. Даже глаза защипало.

– Ладно, не надо пожарного, – с трудом выговорила Саша. – Я и так уйду. Не извольте беспокоиться!

И, нашаривая в кармане номерок, она побежала в гардеробную.

Уходить не хотелось до смерти. Проститься с надеждой еще раз увидеть Игоря Вознесенского?! Но больше всего на свете она боялась скандалов. Довольно с нее было пошлой Черкизовой. Еще и выяснять отношения с каким-то пожарным?! Ну уж нет! И Сашенька сочла за благо удалиться.

Капельдинер посмотрел ей вслед, укоризненно покачал головой, снова сел на свой нагретый стул в уголке и с наслаждением опустил на глаза усталые, набрякшие веки...

\* \* \*

– Даня, вот тут пыльно, ты подмети! Даня, слышишь меня?!

Горничная, она же «кухарка за повара», то есть мастерица на все руки, Даня, услышав голос хозяйки, погрозила пальцем молодому дворнику Мустафе, пришедшему, чтобы дрова на кухню принести, а вовсе не под юбку ей лазить, и отскочила. Наступила на кучу березовых чурочек и едва не растянулась на полу.

Мустафа, в белом холщовом фартуке, надетом поверх дворничьего жилета (такие, синие или черные сатиновые, глухие, носили только дворники), из-под которого торчала выпущенная ситцевая рубаха, переминал ногами в растоптанных галошах-«кенгах» и неотрывно, сузив и без того узкие глаза, смотрел на Данин белый фартук, в основном – на нагрудник его.

– И-ирод! – выдохнула Даня с чувством. – Идолище! Чего *вытаращил* глаза свои магометанские? Тебе же говорено было – сложить, сложить, да не под печку, а вон туда, подальше!

Не ровен час, искра выскочит, все спалит! Ничего, ну ни-че-го-шень-ки толком сделать не можешь, а туда же!

«Туда же» – имелось в виду под Данину юбку, проникновение под которую было строжайшим образом регламентировано. Небось не всякому православному дозволялось, а чтоб каким-то глазам магометанским... Ни-ни!

Мустафа насупился и принялся осторожно складывать рассыпанные по полу дрова.

Даня схватила метелочку и побежала успокаивать барыню (вообще-то, к незамужней Олимпиаде Николаевне следовало обращаться, как к девушке, и кликать барышней, но Даня ее жалела – кому охота зваться барышней в такие-то года?! – а оттого звук *ш* обычно тактично проглатывала.

Олимпиада Николаевна Понизовская (которую гораздо чаще называли в Энске тетей Олей Русановой) ждала назавтра гостей, а оттого весь дом уже несколько дней ходил ходуном. Как и подобает престарелой девице (тетя Оля на год старше своего зятя, а значит, ей недавно исполнилось сорок шесть), она была хлопотлива, суетлива и ворчлива. Иногда ей казалось, что для полного вхождения в образ ей не хватает только левретки и любимой кошечки, обеих – с бантиками на шее: красненьким... нет, не красненьким, после пятого года этот цвет приобрел оттенок некоей двусмысленности... значит, с розовеньким и голубеньким бантиками... Но от громкого собачьего лая у нее наступала мигрень, от кошачьей же шерсти у Константина Анатольевича делалось стеснение в горле и насморк. Приходилось тете Оле ограничивать свои стародевьи привычки ворчанием на горничную Даню, раскладыванием пасьянсов, завивкой волос особыми щипцами, которые она нагревала, засовывая в плафон керосиновой лампы, весьма слабохарактерным надсмотром за племянниками (жесточе, чем поставить в угол, или на полчаса посадить на стул, или оставить без сладкого, наказания для них у тети Оли не находилось), лечением им воспаления среднего уха с помощью горячего мешочка с отрубями (у младших Русановых, как в свое время у девочек Понизовских, были слабые уши) – и тщательно скрываемыми мечтами о том, как было бы прекрасно, волшебным образом, если бы с Константином Анатольевичем что-нибудь случилось и он попал бы в ее полное и безраздельное владение.

Раньше, предыдущие двадцать лет, она мечтала, чтобы Константин полюбил ее. Вдруг бы отверзлись у него очи на сей бриллиант верности, именуемый Олимпиадой, – и полюбил...

– Оля, это глупо! – говорила, заставая ее в слезах, среди обломков несбывшихся надежд, самая близкая подруга Наталья Владиславовна, с детства прозванная Натасенька. – Любовная трагедия хороша в молодые годы. Нужно душу вовремя выжечь, чтобы потом больше не горела. А у тебя она что-то горит, горит, да никак не выгорит! Пошла бы ты хоть за кого-нибудь замуж, что ли? В конце концов, это же не навечно.

Насчет «не навечно» Натасенька знала, что говорит. В юные годы она пользовалась превеликим успехом у веселых холостых чиновников, но дальше ухаживания дело не шло: в каждом из своих кавалеров Натасенька находила те или иные недостатки, с носителем которых совершенно невозможно, как она считала, ужиться. Довыбиравшись чуть ли не до тридцати лет, она спохватилась, что женихов больше нет, и в конце концов вышла за какого-то господина Тараканова: скромного чиновника из пароходного товарищества «Самолет», в самом деле внешне очень напоминающего таракана. Он был бесцветно-рыжеватоый, с закрученными высоко усами. Чтобы усы стояли, Тараканов по утрам ходил в особенной повязке, которая называлась «наусники». Однако это еще можно было терпеть, хуже другое: в самом скором времени оказалось, что Тараканов – настоящий алкоголик, который в периоды запоя тащит из дому все, что под руку попадется: самовар – так самовар, ложки – так ложки, а потом его обнаруживали в публичном доме, откуда швейцар на извозчике привозил его домой. Придя в себя, он совершенно никакой вины не испытывал и только отругивался от упреков Натасеньки, а если не хотелось их терпеть, уходил на некоторое время к отцу, в покосившийся дом на Студеной улице, близ Дюкова пруда. Там он однажды, напившись допьяна, заснул с недокуренной

папиросой в зубах. Папироса выпала на диван, случился пожар. Сильно обгорелого Тараканова доставили в больницу. Потом он умер, в гробу лежал с обгорелыми, аккуратно состриженными усами, был похоронен на Петропавловском кладбище и оплакан женой, которая вообще была склонна к аффектации и поэтому искренне о нем горевала.

Олимпиада Николаевна подозревала, что те семь дней, пока Тараканов лежал без памяти, а Натасенька сидела рядом с ним несходно, были самыми счастливыми в ее семейной жизни. С тех пор она и стала мечтать, чтобы с Константином Анатольевичем что-то приключилось... Ведь тогда эта актерка его немедленно бросит, да и девкам в номерах на Рождественской улице и под Откосом он тоже не будет нужен. Дети, Сашенька и Шурка, конечно, очень любят отца, но разве можно ждать от молодых истинной заботы в болезни? Им все хаханьки!

Вот пример. Тетя Оля знает, что они и ее очень любят, но никогда не упустят случая посмеяться. Однажды она нечаянно услышала, как Шурка врал своему дружку Коле Калинину: мол, тетя Оля потому в баню никогда не ходит, что все свои деньги в чулке хранит и боится этот чулок снимать. Глупости! В бане ей делается дурно, кровь вовсе отливает от головы, она в обмороки падает, а потому моется на кухне, в большой круглой цинковой ванне, с помощью горничной Дани, которая знай нагревает воду в кастрюльках и подает барыне... А по Шуркиным словам выходило, будто она вовсе никогда не моется... То-то Коля Калинин к ней как-то странно потом принюхивался, молодой дурак!

Нет, конечно, тетя Оля на обожаемого племянника не обиделась, однако она еще раз убедилась, что серьезности у нового поколения никакой, а значит, случись что, вся надежда будет на нее... с ее *чулком*!

Ну да, конечно, она бережлива... После смерти отца три сестры Понизовские получили немалое состояние в виде лесов в Энской губернии, однако ведь после *исчезновения* Эвелины и Лидии осталась только треть, принадлежавшая Олимпиаде. Русанову не удалось вернуть то, что принадлежало его жене. А тетя Оля ничего не жалеет ни для племянников, ни для зятя. И никогда не станет жалеть! Пусть только Константин Анатольевич заболит, пусть его только разобьет паралич, вот тогда он увидит...

Когда-то давно у Понизовских был один дальний родственник, герой, между прочим, Крымской кампании. Пошел на войну добровольцем, был ранен в голову, да так тяжело, что ему даже было самим государем императором разрешено носить фуражку вместо форменного кивера. Видимо, это ранение и сказалось на его здоровье впоследствии – родственника разбил паралич, и он несколько лет неподвижно пролежал в постели, лишившись языка, но сохранив при этом некоторую ясность мыслей и, как ни странно, крепость челюстей: когда его кормили, а он был чем-то недоволен, он мял зубами ложку.

Олимпиада представила, как она кормит кашкой неподвижного Русанова, сидящего в покойном кресле, с салфеточкой вокруг шеи, а он мнет зубами ложку, потому что ему не нравится каша... Или потому, что ему не нравится сиделка? Ах нет, подумала сейчас Олимпиада Николаевна, он никогда не оценит ее любовь, ее преданность! Он вечно будет недоволен ею! И даже парализованный, будет мечтать о других женщинах! Одна она для него – вообще не женщина!

– Даня! – горько всхлипнула тетя Оля. – Даня, ну сколько я могу звать? Подмети же, тут пыльно!

После некоторой заминки горничная, она же кухарка Даня, возникла на пороге, одергивая юбку, которую все же не смогла отстоять от загребущих лап Мустафы.

– Да вы что, *барышня*, – воскликнула возмущенно, – не видели?! Я уж все подмела давным-давно, покуда вы в окошко пялились!

Потом увидела, что тетя Оля стоит, дрожа губами, а глаза у нее мокры-мокрехоньки, – и сменила гнев на милость:

– Ну ладно, ладно, мигом подмету сызнова. Где пыльно, *барыня*, где?

\* \* \*

Клара вернулась за кулисы и первое, что сделала, это выдернула из прически свой боевой трофей – красную герань. Оглядела с презрительной улыбкой, швырнула на пол и уже приподняла было ногу, чтобы наступить и растоптать, как вдруг чья-то рука скользнула по полу и выдернула цветок из-под ее туфельки.

Клара с трудом удержалась на одной ноге, да и, пожалуй, упала бы, но тот же человек, который подобрал герань, подхватил и ее, помог устоять. Но не просто помог, а стиснул в объятиях...

Она откинулась, уперлась руками ему в грудь:

– Это еще что за новости?! Ну нет мне сегодня никакого покоя от Русановых! То *Александра Константиновна* донимала, теперь, извольте видеть, *Александр Константинович* появился!

– Это правда, что я слышал? – хриплым голосом проговорил пятнадцатилетний Александр Константинович Русанов (чаще, впрочем, называемый Шуриком или просто Шуркою), не выпуская Клару из объятий.

– А что вы слышали? – с вызовом спросила она, безуспешно (и, честно говоря, не слишком старательно) пытаясь его оттолкнуть.

– Правда, что у вас роман с этим пошлым актеришкой? – И он мотнул головой в сторону сцены, откуда слышался голос Игоря Вознесенского, исполнявшего очередной романс.

– С пошлым актеришкой? Ха-ха! Но, между прочим, я тоже пошлая актрисулька, – вызывающе усмехнулась Клара, глядя прямо в серые глаза Шурика – на своих каблучках она была одного с ним роста (увы, высоким Русанова-младшего назвать было трудно даже при самом наилучшем к нему отношении!). – Так что мы с Вознесенским очень подходим друг другу. Да-да, *mon enfant!*

– Не смейте меня оскорблять! – набычился Шурик. – Какое я вам дитя?!

– Ну, извините великодушно, *mon petit garçon!* – пожал плечиками Клара.

– Говорю вам, не смейте называть меня маленьким! – Серые глаза Шурика сверкнули каленым, синим, бешеным огоньком. – Я уже давно не маленький мальчик, я им перестал быть с тех пор, как вас встретил!

– Как интере-е-есно! – протянула Клара, делая большие глаза. – Что же с вами тогда произошло, что вы вдруг повзрослели?

– Вы это прекрасно знаете! – хрипло проговорил Шурка. – И прекрасно знаете, зачем я сейчас здесь!

– Да ну? – Клара с силой дернулась и наконец-то высвободилась. – Отдайте-ка цветок. Он не ваш! – Она забрала у Шурика несчастную герань, с которой уже порядком пообсыпалось лепестков, и задорно помахала ею перед его носом: – Мысли я читать не умею, но все же попробую догадаться, какого, в самом деле, черта вы сюда притащились. Судя по вашему безумному виду – ну да, глаза сверкают, волосы всклокочены и, как было написано в одних дурных стихах, высоко вздымается грудь молодецкая! – судя по всему этому, вы явились сообщить мне нечто чрезвычайное. Я угадала?

– Да! – выдохнул Шурка.

– Отлично, – Клара хлопнула ладонью о ладонь, как бы аплодируя, и с герани снова посыпались лепестки. – И я, кажется, знаю, что именно. Я только что слышала это от вашей сестрицы. Вы пришли просить меня бросить вашего отца, верно?

– Да! – хрипло прошептал Шурик.

На точеном лице Клары мелькнуло растерянное выражение:

– Я угадала? С ума сойти... А вам-то что до приватной жизни вашего батюшки? Тоже мечтаете женить его на какой-нибудь комильфотной клуше?

– Да пусть он женится на ком угодно! – яростно воскликнул Шурик. – На ком угодно, только бы оставил в покое вас! Только бы не касался вас!

– Это почему еще? – глянула исподлобья Клара. – Неужто я такая омерзительная, что до меня даже и дотронуться противно?!

– Вы... – задохнулся было Шурик, но тотчас снова обрел дар речи: – Вы никакая не омерзительная! Вы – обворожительная, вы – единственная в мире, и я жажду обладать вами!

– Что? – растерянно повторила Клара. – Обладать? То есть вы решили отбить у отца его любовницу?

– Да, да, да! – И в подтверждение своих слов Шурик снова облапил ее. – Я хочу, чтобы вы стали моей любовницей! Не его, а моей! Нет, я даже готов жениться на вас, если вы не согласитесь отдаться мне иначе!

– Иисусе праведный... – пробормотала совершенно ошеломленная Клара. – Откуда он набрался таких выражений?!

– Я же говорю, что уже не мальчик! – торжествующе выкрикнул Шурик. – И я докажу, докажу вам это!

Он резко сунулся вперед и припал к ее губам.

Клара на миг замерла, потом изумленно приоткрыла губы под напором его жадного рта.

Разумеется, Шурка совершенно не умел целоваться, но зато... зато Клара умела делать это в совершенстве. Она прошла хорошую школу, в которой была способной ученицей, но сейчас вдруг обнаружила, что быть учительницей в этой школе приятней во сто крат. Ну и с упоением принялась за обучение...

В это мгновение за кулисы выглянул Грачевский:

– Клара, ты что тут...

И поперхнулся:

– Пардон, господа, однако... Вам на сцену пора, мадемуазель Черкизова!

– Ничего страшного, Петр Иванович, – расхохоталась Клара, облизывая проворным язычком влажные губы и снимая с себя руки Шурика, который от неожиданности остолбенел и даже как бы окаменел. – Все это пустяки, дело вполне житейское! Да, я иду. Прощайте, mon enfant, ах, извините, mon petit garçon, то есть, еще раз извините великодушно, Александр Константинович! Вот вам за ваши страдания!

И, швырнув ему в лицо многотерпеливую герань, она убежала на сцену.

Шурик схватил цветок, который чувствительно ударил его по носу, и затуманенным взором уставился на Грачевского. Тот смотрел на влюбленного юнца сочувственно и чуть заметно покачивал головой.

– Что вам? – хриплым баском спросил Шурик, который был готов наизнанку вывернуться от смущения (кожа горела, даже чесалась – так он покраснел!), а потому сделался груб. – Что устались?

– Да ничего особенного, – пожал плечами Грачевский. – Так просто смотрю.

– Нет, вы не так просто смотрите, вы на меня, как на преступника, смотрите! Как будто я напился прямо в монопольке<sup>15</sup> и у порога валяюсь!

– В самом деле, похоже, – кивнул Грачевский. – Вы просто забыли, что крепкие напитки надобно употреблять с осторожностью. И вообще, как говорится, пить надо умеючи! А впрочем... Врачу, исцелился сам! – продекламировал он и печально усмехнулся. – Кто бы рассуждал о правилах пития, только не аз, многогрешный! Умываю руки. Прощайте, молодой человек.

---

<sup>15</sup> В описываемое время государству принадлежала монопольная торговля алкоголем, поэтому винные государственные лавки и назывались монопольками. (Прим. автора.)

Грачевский ушел вслед за Кларой, а дрожащий от всего случившегося Шурка судорожно прижал к губам герань, после пережитых пертурбаций утратившую и аромат, и практически все лепестки, кроме двух-трех. Нервы его были натянуты, тело обрело особую, болезненную чувствительность, так что он чуть не заорал в голос, когда кто-то коснулся его плеча.

Заорать не заорал, но так и ахнул, когда, обернувшись, увидел рядом Марину Аверьянову:

– Мопся, ты что тут делаешь, а?!

– А ты что? – спросила, в свою очередь, его троюродная сестра, вглядываясь в Шурика своими близорукими карими выпуклыми глазами. Из-за этих глаз ее прозвали в детстве «толстым мопсом». Она на всю жизнь так им и осталась, разве что двухсловное прозвище для простоты преобразовалось в однословное. Теперь Марину называли просто Мопс или даже Мопся.

– Я... я тебя ищу! – нашелся Шурик, от души уповая на то, что Марина вошла за кулисы только сию минуту и не могла наблюдать предыдущей сцены.

– Зачем я тебе? – удивилась она. – Деньги нужны, что ли? Пока ничего не получится: отец уехал в Москву, а я все, что он оставлял на карманные расходы, передала в партийную кассу.

Честно говоря, Шурик и в самом деле частенько брал у Марины деньги (ну как удержишься, коли у Аверьяновых они неслучайные, а жизнь так дорога... не у отца же вечно побирать!), но сейчас спрятаться за привычный предлог показалось неловко и даже унижительно. Что, если Марина видела Клару? Еще решит, что Шурка деньги богатой кузины на «арфисток» («Кстати, интересно, – подумал он, – отчего это артисток в Энске непременно арфистками зовут, причем во всех слоях общества?») спускает! Для женщины вообще нестерпимо – в свои пятнадцать лет Шурик уже кое-что знал о существах противоположного пола, чтобы рассуждать о них, как говорят французы, *en général*<sup>16</sup>, – когда ее деньги на другую спускают. Даже для такой лупоглазой толстухи, как Марина, это неприятно. Ни ссориться с кузиной, ни унижать ее Шурке не хотелось, поэтому он мигом вывернулся (уж это он умел делать в совершенстве, даже избыточно ловко, как считала тетя Оля).

– Ты обещала взять меня на ваше собрание. На партийное. Я ждал, ждал, когда ты позовешь, но не дождался и решил сам тебя найти и напомнить.

Маринины карие блестящие глаза при его словах стали еще ярче. Честное слово, в иные минуты Мопсю можно назвать почти красивой, подумал Шурка. Если бы она еще одевалась по-человечески... А то в этой ее бесформенной «толстовке», в обтерханной юбке не поймешь, которого она полу. К тому же стриженная! Какая была раньше коса, русая, шелковистая, чуть не до подколенок, но вот уже второй год, как Мопся стрижется в скобку, словно столичная курсистка. Кто-то говорил, будто Марина курит папиросы, причем предпочитает сама набивать гильзы табаком. Шурка, правда, не видел этого, но известие заслуживало доверия, ибо было вполне в духе Мопси, несколько спятившей на почве избыточной эмансипированности и вседозволенности. Константин Анатольевич Русанов, либерал, интеллигент и демократ, сторонник педагогической системы Ушинского, часто говорил, что если бы его дочь хотя бы на четверть напоминала Марину, он ее просто убил бы. Игнатий Тихонович Аверьянов, банкир, купец, акула капитализма (одно из любимейших выражений Марины, которое она запустила в широкий оборот), в детстве частенько стаивавший в углу на коленях на горохе, выросший под розгами свирепого папеньки, никогда пальцем дочь не тронул и уповал только на Бога, который должен же Марину образумить... Шурка втихомолку был согласен со своим отцом, а не с Марининым, однако сообщать об этом Мопсе не собирался.

– Я не забыла, Шурик, – ласково сказала Марина. – Но наши считают, что ты нуждаешься в проверке, что тебе еще рано общие собрания посещать. Однако как раз сегодня будет одна встреча, на которую я могу тебя взять. Приехал из Питера ответственный товарищ, он хочет

<sup>16</sup> Вообще (франц.).

познакомиться с молодежью вашего круга, интеллигентного. Я обещала, что приведу тебя и еще кое-кого. Твоя шинель где, в гардеробной? Пошли одеваться. Мы собираемся на Малой Ямской, так что поспеши, а то опоздаем.

До Малой Ямской улицы самого быстрого ходу минут сорок, а то и больше.

«Можно извозчика взять», – чуть не брякнул Шурка, да вовремя спохватился. Известно было, что Мопся никогда не ездила на извозчике и отцовскими выездами тоже не пользовалась. Это было запрещено уставом общества защиты животных, в котором состояла Марина: общество выступало против жестокого обращения с лошадьми и применения кнута. Если надо было съездить в Заречную часть, Марина просила у отца автомобиль, но весьма неохотно: ведь принципы всяких там социалистов и революционеров запрещали эксплуатировать человеческий труд – в данном случае труд *шоффера*...

\* \* \*

«Харьковский губернатор предложил городскому голове внести на рассмотрение городской думы вопрос об увеличении в городе полиции – штата городских, исходя из пропорции один городской на четыреста человек».

«*Русские ведомости*»

«Минск. В разных пунктах губернии произведены аресты лиц, занимающихся нелегальной эмиграционной деятельностью; выяснилась связь некоторых из них с закрытым в Вене за злоупотребления эмиграционным обществом».

«Министерством внутренних дел внесен в совет министров законопроект о производстве в 1915 году второй всеобщей переписи населения империи. На осуществление переписи используется 11.368.427 рублей».

*Санкт-Петербургское телеграфное агентство*

\* \* \*

– Можно, господин Охтин? Позвольте войти? Не помешаю?

Худой, обросший щетиною и растрепанный русоволосый человек лет двадцати пяти в помятой черной косоворотке, сидевший за побитым письменным столом в ярко освещенной комнате и что-то торопливо писавший, смущенно вскочил:

– Здравствуйте, ваше благородие, господин начальник. Что это вы разрешения спрашиваете, будто посторонний? Входите, конечно!

– Мы же договаривались без чинов, – усмехнулся, входя в кабинет, Смольников, одетый, как и Охтин, в партикулярное платье, а не в форменный сюртук: чинам сысской полиции позволялось вольничать в одежде, в отличие от всех прочих полицейских. Подразумевалось, что они день-деньской проводят на оперативной работе, которая требует всяческой маскировки.

– Договаривались, – улыбнулся и молодой человек. – Однако вы сами назвали меня «господин Охтин», ну, я и...

– Ваша правда, Григорий Алексеевич, – кивнул начальник сысского отдела. – Однако к герою нынешнего дня обращаться запросто показалось мне неудобным.

– Да ну, какое геройство! – еще пуще смутился Охтин. – Вот если бы я раздобыл какие-то сведения о попытке ограбления Волжского банка... А тут ерунда, самая обыкновенная разыскная работа, ну, и еще толика удачи. Опять же, знаете, господин Смольников, как говорят наши

мазурики? Жадность фраера погубит. Вот и в самом деле погубила. Уж очень хотелось Шулягину фальшак сбыть, пока краска не полиняла да не стерлась. Поспешил он, кинулся на первого встречного покупателя, который выгодную цену предложил. А поспешишь – людей насмешишь.

– Да уж, – согласился Смольников. – Крепко ему «повезло», что этим выгодным покупателем оказались именно вы!

– Вокруг него еще пара-тройка подозрительных личностей крутилась, – сообщил Охтин. – Но поскольку вы, Георгий Владимирович, дали указание средств не жалеть, я и распахнул перед ним лопатничек<sup>17</sup> да изобразил тороватого, безмозглого, к тому же подвыпившего молодца. Он и клюнул. Потом, когда уж повязали мы его, все причитал: мол, ему словно нашептывало что-то: «Не надо, держись от этого молодчика подальше, нечистое тут дело, шибко уж он щедр...» Однако он предпочел не послушаться предостережений внутреннего голоса, вот и влип.

– А что, говорите, за личности там мелькали? Вы отправили кого-нибудь последить за ними? – насторожился Георгий Владимирович Смольников, начальник сыскного отделения полиции Энска, прямой и непосредственный начальник удачливого агента.

– А как же, – кивнул Охтин, – я ж не один в тот трактир пошел на встречу с нашим умельцем, со мной несколько наших ребят было. Они и взяли на себя возможных покупателей. Ничего интересного, обычные мелкаши с Кожевенного переулка, щипачи, которые из себя птиц высокого полета корчат. Мы-то думали, связи этого нашего «фабриканта» проследим, но у меня такое впечатление, Георгий Владимирович, что он сам по себе работал, в одиночестве.

– Наладить производство такого количества фальшивых рублей одному? – недоверчиво проговорил начальник сыскного отделения. – Неужели вам в такое верится? Мне казалось, мы зацепили целую компанию. Мне кое-что известно о вашем «фабриканте». Он бывший цирковой артист, подвизался прежде в разных труппах помощником фокусников-гастролеров (видимо, брал уроки «ловкости рук», что ему теперь и пригодилось), потом в Энске осел, поскольку отсюда родом, однако держит связь с некоторыми бывшими циркачами. Не могло так быть, что все они одним миром мазаны?

– Я тоже раньше думал, что целая шайка фальшаки мастачит, – кивнул Охтин. – Но наш питомец показал мне, как он лихо «канареечки»<sup>18</sup> шлепает, словно блины печет, и я поверил, что впрямь он работает безо всякой компании: сам себе и швец, и жнец, и в дуду игрец.

– Вы в его лаборатории были? – удивился Смольников, доставая портсигар – изысканный, серебряный, очень модного рисунка: в полоску. Одна полоска была блестящая, другая матовая.

Охтин очень хотел курить и уже собрался, попросив у Смольникова разрешения, достать свой портсигар, но теперь это делать было невозможно: портсигар у Охтина был самый простой, кожаный, весь исцарапанный от времени. И спички в простом коробке, в то время как у начальника сыскного отдела имелась новинка техники – зажигалка, или «вечная спичка». Конечно, это был предмет зависти всех агентов, поскольку игрушка была дорогая.

«Игрушка» представляла собой небольшой прямоугольник из металла, сделанный в виде записной книжечки. Обрез был покрыт каким-то составом, видимо, серным. Внутри был налит бензин, а сбоку прикреплен маленький серебряный карандашик. Смольников чиркнул карандашиком об обрез, и наверху карандашика загорелся огонек, который потом пришлось задуть. Оказывается, внутри карандашика была вставлена металлическая «спичка», в расщепленной головке которой находилась ватка, пропитываемая бензином. На самом деле все просто, но ведь все великие изобретения кажутся на поверку простыми!

---

<sup>17</sup> Так в описываемое время называли большие купеческие портмоне. (Прим. автора.)

<sup>18</sup> Так в России в описываемое время называли рублевые ассигнации, которые были желтого цвета. (Прим. автора.)

– Ну что же вы, Григорий Алексеевич? – нетерпеливо спросил Смольников. – Берите папиросу, закуривайте. Или вам не нравится «Сапфир»?

Охтин поперхнулся: папиросы «Сапфир» были ему не по карману, так же как и серебряный портсигар и зажигалка. Но отказываться от предложения начальника не стал – закурил с удовольствием.

– Благодарствую... – Затянулся, медленно выпустил дым, имеющий слабый аромат вишневой смолки – признак наилучшего табаку. – Лаборатория, говорите? Да у него, с позволения сказать, лаборатория везде и всюду с собой, – усмехнулся Охтин. – Как у той стрекозы: и под каждым ей кустом был готов и стол, и дом. Ежели вы желаете, сможете процесс понаблюдать хоть сейчас. Я уж наглядился, ушел отчеты писать, а там с ним охранника и фотографа оставил – для исторического запечатления фабрикации фальшаков. Наш подопечный ведь уникам в своем роде, секреты его мастерства в архивах оставить надо для назидания грядущим поколениям.

– Молодец вы, Охтин! – Смольников даже в ладоши хлопнул от восхищения. – Эх, глаза горят, щеки пылают... Я когда-то тоже был такой же сумасшедший от восторга, что сыском занимаюсь, что удача сама в руки идет. На месте не сидел. Даже ходил вприпрыжку. На что только не отваживался, только бы дело раскрыть, преступника изобличить!

– Да разве сейчас иначе, Георгий Владимирович? – удивился Охтин. – Вы и теперь днем и ночью, покоя не ведая... Все время на службе вы! Семейство ваше, супруга ваша небось позабывает, когда видит вас...

– Ну, что до моей супруги, то Евлалия Романовна видит меня, как мне кажется, даже чрезмерно часто, – хохотнул Смольников. – А у деток есть нянька Павла, которая им вполне заменяет и мать, и отца. Нет, я, когда о прошлом вспоминал, о другом говорил. Раньше, знаете, работа мне глаза застила... Я тогда был простым следователем прокуратуры и ради работы на все готов был. Жил ею! Настолько жил, что во имя ее и во имя своей карьеры однажды... а впрочем, не стоит об этом. Дело давно прошедшее, вспоминать о нем ни к чему. Так вы говорите, *уникам* наш, фабрикант этот, как раз сейчас секреты своего мастерства показывает? Нельзя ли мне поглядеть?

– Извольте, – поспешно вскочил Охтин. – Пойдемте в соседнюю комнату, именно там сие происходит.

Смольников и Охтин вышли из кабинета и постучали в соседнюю дверь. Отпер полицейский, который при виде начальника сысканого отделения вытянулся во фрунт, однако глаза его, коими он, согласно уставу, должен был «есть» начальство, так и норовили убежать в сторону, воротиться в комнату, где то и дело вспыхивал магний: фотограф трудился в поте лица, фиксируя все детали процесса фабрикации фальшивых денег.

Что и говорить, зрелище было впечатляющее... Невысокий, мелконький, весьма востроносый, прилизанный человечек в розовой косоворотке и жилетке, напоминающий своим обликом полового из третьеразрядного трактира (да кого угодно, только не фальшивомонетчика, который доставил немало хлопот полиции и сысканому отделению большого губернского города!), сновал около стола, руки его так и мелькали. В самом деле, сравнение с цирковым фокусником немедленно приходило на ум.

– Ну-ка, Шулягин, предьяви их благородию господину Смольникову свое мастерство, – приказал Охтин, входя. – Взгляните сюда, Георгий Владимирович, это подручные средства нашего умельца, та самая «лаборатория».

Он показал на стол, где стояли тарелка, ковш с водой, пустая бутылка, аптечный пузырек, лежал кусок мыла, а также ножницы и два листа чистой бумаги.

– А что это у вас, господа, здесь карболочкой припахивает? – потянул носом Смольников.

– Так ведь в пузырьке, с вашего позволения-с, карболочка и есть, – ничуть не смущенно, а даже с некоторой развязностью артиста, кокетничающего перед публикой, отозвался Шуля-

гин. – Непременно нужна она нам для нашего дельца-с. А мыльце-с необходимо дорогое, беленькое-с. Кокосовое – самое лучшее-с.

– Ишь ты! – пробормотал фотограф, высовываясь из-под своей черной накидки. – Какие тонкости!

– А как же! – покровительственно кивнул Шулягин. – У каждой пташки, как говорится, свои замашки. Во всяком ремесле свои тонкости имеются. В вашем – свои, в моем свои, у его благородия небось свои...

– Ладно, Шулягин, ты давай работай, а не фамильярничай, – с притворной сердитостью приказал Охтин, однако Смольников ничуть не обиделся и с интересом продолжал обозревать атрибуты фальшивомонетчика.

– Извольте видеть, господа, – произнес Шулягин с важным видом фокусника, извлекающего из шляпы если не живого зайца, то по крайности его пушистый хвост. – «Канареечку» кладем на бумажку, прикрываем другим листом, крепко держим и, глядя на просвет, обрезаем ножничками – чик-чик! – чтобы бумажки в точности с рублевкой совпадали.

Фотограф торопливо нырнул под накидку вновь, и в ту же минуту ослепительно вспыхнул магний. На лице у Шулягина мигом появилась фатовская улыбочка. Похоже было, что «фабрикант» не чувствовал опасности своего положения, а ощущал себя в положении некоего эксперта или консультанта, которого просто так, за делом или интереса для, *пригласили* в полицию, но, лишь только потребность в нем будет удовлетворена, его отпустят.

Не умолкая ни на минуту и с видимым удовольствием комментируя каждое свое движение, Шулягин положил рубль в тарелку с водой, а на бумажные заготовки накапал карболки и растер ее так, чтобы жидкость равномерно растеклась по бумаге. Вслед за этим он взял «дорогое, беленькое мыльце» и принялся мерно водить куском по бумажкам.

Смольников наморщился: сочетание запахов кокоса и карболки было, мягко говоря, своеобразным. Полицейский громко чихнул и быстро, украдкой, чтоб начальство не заметило, перекрестил рот. Фотограф под своей накидкой тоже чихал, однако съемку не прекращал. Охтин иногда крепко, сильно чесал нос, но не издавал ни звука.

Одному Шулягину все было нипочем.

Довольно намылив бумажки, Шулягин вытащил из тарелки промокший рубль, положил его на один шаблон, а сверху накрыл другим. Положив этот «сэндвич» на стол, он принялся катать по нему бутылкой.

– А вот интересно, имеет в данном случае значение, что вы оперируете бутылкой от шустовского коньяка? – с чрезвычайно заинтересованным видом спросил Смольников. – И как отразилось бы на качестве фабрикуемых денег, окажись бутылка простой водочной? А ежели шампанской, к примеру?

– Шутить извольте-с, ваше благородие? – с ласковой укоризной, точно к ребенку, обратился к нему Шулягин, не оборачиваясь и не прекращая работы, которой он был, видимо, увлечен. – Бутылка тут совершенно ни при чем-с, мне удавалось достигать тех же результатов с помощью обыкновенной скалки, какой кухарки тесто мнут и катают-с. Лишь бы хорошо остругана была-с. Вот из-за гладкой поверхности и предпочитаю-с бутылки-с.

– Во-во! – не выдержал полицейский чин. – Кухарка ты и есть! Готовьте, братцы, тарелки, сей момент испекут вам блинцы рублевые, горяченькие! С чем пожелаете, с маслицем аль со сметанкою?

Тотчас он спохватился, что забылся на посту да еще и в присутствии начальства, и от испуга снова вытянулся во фронт.

Никто, впрочем, не обратил на него внимания, все смотрели на стол, где Шулягин осторожно отделил бумажные шаблоны от настоящего рубля. Теперь около «канарейки» лежали две бумажки с ее отпечатками.

– Так-так! – строгим тоном сказал вдруг Смольников, пристально всмотревшись в оттиски. – А ведь ты, брат, суший мошенник. Жулик, жулик ты!

Шулягин покраснел, словно девица:

– За что оскорбляете, ваше благородие?!

– Рублевики-то у тебя не правдашние, а обратные! – ткнул пальцем в шаблоны Смольников. В самом деле: обе стороны рубля были отпечатаны на бумажках в зеркальном отображении.

– Не спешите, господин начальник, – наставительно сказал Шулягин. – Дело мое еще не кончено! Вся беда в том, что вы работу мою видите, а сами ведь знаете: даже платье недошитое мастера не любят показывать. Это перед вами именно что платье недошитое. Половина, можно сказать, дела. Вы уж, ради Христа, терпения наберитесь и попусту не обижайте меня.

– Ну, ты артист, Шулягин... – не то в восхищении, не то в негодовании протянул Смольников. – Ладно, не станем тебе мешать, твори дальше!

Приободрившийся Шулягин «творил» вдохновенно. Теперь он прикладывал «обратный» рубль к двум сторонам одного шаблона. И когда закончил, перед глазами зрителей появилась наконец подделка, с виду очень напоминающая настоящий рубль.

Фотограф заснял фальшивую купюру во многих ракурсах и наконец вылез из-под своей черной накидки, принялся снимать фотоаппарат с треноги.

– На дураков, конечно, рассчитано, – взяв сырой «рубль» и помяв его кончиками пальцев, задумчиво проговорил Смольников. – Бумага нужна более тонкая, к тому же рукоделие ваше пачкается.

В самом деле, пальцы его слегка пожелтели.

Шулягин виновато пожал плечами, аккуратно закручивая пробкой пузырек с карболкою.

– Шибко-то разглядывать «канареечку» кто будет-с? – заговорщически спросил он. – Думаете, я почему не делаю сотенных или хотя бы четвертных? Их со вниманием берут, с придиркою-с. На свет смотрят, чуть ли не зубом пробуют, аки монету золотую. А рублевик-с... – Он пренебрежительно махнул рукой. – Конечно, дело хлопотное, миллионером я не стану, ведь за час больше двух рублей при всем желании не сделаешь, а то и по сорок минут на каждый уходит-с. Но даже и при такой скорости жить можно было-с, очень даже можно-с, причем жить не просто так, а вполне блаженно...

И он протяжно, надрывно вздохнул, словно только сию минуту осознал, что его блаженной жизни пришел-таки конец. Лицо его утратило вдохновенное, артистическое выражение, сделалось плаксивым.

– Да ладно, Шулягин, не помирай раньше времени, – сказал вдруг Смольников очень приветливым, почти дружеским тоном. – Судьба, знаешь, играет человеком... Слышал такие стихи? Господина Соколова сочинение. В гимназии учился? Нет? Ну хоть в школе церковно-приходской? Тоже нет? Ты у нас, значит, талант стихийный, самородок? Поздравляю! Ну так вот – слушай стихи: «Судьба играет человеком, она изменчива всегда: то вознесет его высоко, то бросит в бездну без стыда». Но ведь и наоборот случается!

\* \* \*

Сашенька выскочила из Народного дома и сразу куда-то побежала, сама не понимая куда. Оказалось, она спешит за угол, подальше от входной двери, от любопытных глаз людских. Ветер бил в спину, гнал жестоко, словно назойливо заставлял: «Уходи отсюда! Уходи подальше!» Но Сашенька пока не могла уйти, ей нужно было отыскать укромный уголок и хорошенько выплакаться. Горечь и обида переполняли ее, слезы так и кипели на глазах. Показать хоть одному живому существу в таком виде Сашенька не могла – гордость не позволяла. Поэтому ей и нужна была сейчас минутная передышка. Ну вот здесь ее, кажется, никто не

увидит! Притулилась к стенке, рванула из кармана носовой платок, прижала к лицу, с наслаждением всхлипнула...

– Не вы ли обронили, барышня? – послышался рядом женский веселый голос, и Сашенька с усилием оторвала платок от глаз:

– Что?

Голос у нее звучал насморочно, был сырым от слез.

– Не вы потеряли, говорю? – Девушка в черном платке и черном, очень поношенном, явно с чужого плеча саке, с русыми кудряшками на лбу, ясноглазая, румяная, стояла напротив и улыбалась во все свое свежее, очень хорошенькое личико, которое, однако, сильно портил довольно-таки большой синяк под глазом. Синяк был, вероятно, не сегодняшний, потому что он уже отливал не столько багровостью, сколько тусклой желтизной. Однако приложено было увесисто, и всякому сразу становилось ясно: сойдет «фонарь» еще очень не скоро, причем никакая бодяга дело не ускорит, а только желтизны прибавит в сей и без того многоцветный пейзаж.

Сашенька, впрочем, на синяк бросила только самый беглый взгляд. И не только потому, что неприлично это – пялиться в упор на человека. Она уставилась на смятую бумажку, которую девушка держала в своей маленькой, покрасневшей от холода руке. Бумажка была исписана кругом, испещрена волнистыми линиями, двойными подчеркиваниями... Ее многострадальная записка Игорю Вознесенскому! Выпала из кармана!

– Что это тут? – не дождавшись ответа, девушка взгляделась в бумажку и вдруг громко, нараспев прочла почти без запинок, что выдавало хорошее знание грамоты: – «Если бы знали, как я люблю Вас! Люблю, обожаю, не могу жить без света Ваших глаз, без звуков Вашего голоса!»

Сашенька чуть зубами не скрипнула. Эти слова, которые еще недавно казались такими искренними, от самого сердца идущими, теперь, после того, как их высмеяла Клара, чудились пошлыми, ненатуральными, даже вульгарными. Сейчас эта незнакомая девушка тоже поднимет на смех ее излияния!

Однако девушка и не подумала смеяться. Наоборот, она уважительно покачала головой, подняла на Сашеньку восторженные глаза:

– На, возьми да больше не роняй. Жалко небось будет, коли потеряешь. Охти мне, как красиво, красиво-то как!!! Сама писала аль писаря просила? Кому письмо-то, дружку твоему? А чего ж не отдала? Небось он, как прочел бы такое, мигом упал бы к твоим ногам. Чего стоишь зареванная? – Она задавала вопрос за вопросом, однако ни на один не ждала ответа. Чудилось, безошибочно читала их на Сашенькином лице. – Неужто увидела его с другой, с соперницей? Ну и чего? Подралась с ней? Много волосьев повыдергала?

У Сашеньки против воли брови полезли на лоб. Однако девушка была не лишена не только наблюдательности, но и чуткости. Усмехнулась с виноватым выражением:

– Ой, да что же это я горожу? У вас же, у господ, рожи друг дружке квасить не принято. Не то что у нас... Погляди на меня, вон какой синячище! Третьеводни ходила к милому своему – свиданку обещали дать в тюрьме, так ведь не дали. Мне не дали! А ей, сопернице, змее подкольной, ехидне Раиске, – на тебе, иди, гляди вволю в любезные карие очи! Ох и проныра она, Раиска, знает, где и кого подмазать! Сунула тому-этому барашка в бумажке – вот ее и пропустили, а я, дура, растерялась, ну и не получила ничего. Думаешь, любо мне было глядеть, как мой миленок с Раиской лизался? Не выдержала, конечно... «Лярва ты, – говорю, – паскудная, куда ж ты лезешь? Неужто это твой хахаль? Что ты для него сделала, что руки куда не надо тянешь? Тебе дай волю, так ты и в мотню ему вскочишь при всем честном народе!» Ну, тут она и начала кулаками махать, а кулачонки у ней хоть и маленькие, да крепкие. Раз я увернулась и другой, а на третий не вышло. Вмазала она мне, я аж свету белого невзвидела. Ну да ничего, не зря страдала! – Девушка хмыкнула, и личико ее вновь засияло улыбкой. –

Стражник один купленный был, на все глаза закрывал, а другой честный попался, порядочный (небось и в тюрьге порядочные есть!), он же видел, кто первый начал, кто драку затеял. Живо Раиску выгнал взашей и сегодня тоже не допустил ее к свиданию. А меня вот допустил!

Сашенька как вытаращила глаза, так и стояла, кажется, ни разу даже не моргнув. Конечно, выражалась эта барышня лихо, порою даже чрезвычайно лихо, некоторые словечки так и резали слух, от некоторых можно было вообще в обморок упасть... от той же *мотни*, к примеру. Но до чего было интересно слушать незнакомку, просто невероятно! Интересно и волнующе! Ведь у Саши никогда не было знакомых, которые не то что сидели в тюрьме, но даже и хаживали туда запросто. Впрочем, нет, были: к примеру, Марина Аверьянова вечно вокруг острога крутилась, все какие-то передачи туда организовывала, однако сама она, сколь было известно Сашеньке, носу туда не совала: много чего терпел от дочери снисходительнейший Игнатий Тихонович, но уж такого точно не вытерпел бы. К тому же Маринины подопечные – ужасно скучные политические заключенные, у них на уме одни революции и антиправительственная болтовня, а здесь... Какие страсти, ну прямо как у Лескова в «Леди Макбет Мценского уезда»!

Сашенька так увлеклась рассказом своей новой знакомой, что на какие-то минуты забыла даже про Игоря Вознесенского.

– А он, этот молодой человек, – спросила оживленно, – он-то в кого влюблен? В вас или в... как ее там... в ехидну Раиску?

Девушка призадумалась. Да так крепко, что даже лобик наморщила. Подумала, подумала, повздыхала, повздыхала, а потом растерянно проговорила:

– Так ведь он, бедолага, небось и сам не знает. Наверное, совсем с разума сбился, на части разорвался: и та по сердцу, и другая!

– Так не бывает, – покачала головой Сашенька. – Говорю вам, так не бывает!

– Много ты знаешь! – хмыкнула девушка. – Очень даже бывает! И как же иначе быть может, коли мы с Раиской обе вместе свечки Варваре-великомученице на любовь до гроба ставили и молебны за здравие заказывали!

– Ну и что? – непонимающе нахмурилась Сашенька.

– Что «что»? – уставилась на нее девушка, как на дурочку. – Неужто не знаешь? Ну, это старинная премудрость. Если в часовне Варвары-великомученицы – вон в той, в кирпичной, что на Варварке, – поставить свечку на смертельную любовь, а потом молебен во здравие своего милого заказать, он в тебя непременно влюбится по гроб жизни. Не слышала, что ли?

Сашенька покачала головой.

Никогда она не слышала, чтоб Варвара-мученица помогала при несчастной любви. С этой святой в семье Русановых была связана одна забавная история. Бабушка Константина Анатольевича со стороны матери, госпожа Ковернина, до глубокой старости сохранила удивительную красоту, но была дамой совершенно неукротимого нрава, известного всей округе. Среди множества причуд была у нее одна – особенного свойства. Когда у нее заболели ноги, она послала крепостную девку в молельню за иконой великомученицы Варвары и заставляла прикладывать икону к ногам. Если наступало улучшение, то святой служили молебен, если же ноги по-прежнему болели, госпожа Ковернина распорядилась повесить образ «носом к стенке». В наказание!

Ноги исцелить – это еще ладно, в такое еще можно поверить, но чтобы Варвара-мученица помогала в любви...

– Диву тебе даюсь! – укоризненно пробормотала между тем девушка. – Да ведь все влюбленные про сие знают! А ты – нет... Как только на свете живешь? Ну что так тарачишься? Не веришь небось?

Сашенька пожала плечами:

– Не знаю...

– А чего тут знать? – хмыкнула девушка. – Знать ничего не нужно. Просто пойдешь да сходишь в часовенку. Прямо сейчас! Сперва свечку у иконки поставь, потом напиши имя на бумажке и монашенке отдай, которая там каноны читает. Ну и деньги заплати. Чем больше, конечно, тем лучше. Иные, которые сильно влюбленные, и рубля не жалеют, а то и трешницы, чтоб уж совсем наверняка... И вот увидишь – милый твой никуда от тебя не денется. Пойди туда! Помянешь мое слово, еще и спасибо скажешь!

– И получится? – недоверчиво спросила Сашенька.

– Конечно!

– А вдруг нет?

– Говорю тебе, получится! Ну а если нет... конечно, всякое бывает, мало ли какая соперница дорогу перейдет... тогда непременно същи меня. К знатному колдуну сведу. Есть один такой, и не столь далеко живет, на Канатной улице. Ох и умелец! Хомуты надевает, на бобах разводит, кого хошь узлом завяжет, всякое сердце растопит на любовь. Одна беда – шибко дорого берет, оттого я никак к нему сходить не могу. Вечно денег нету, а то я давно б к себе своего Кота намертво приворожила!

Тема разговора была серьезна донельзя и трогала Сашеньку за самое сердце, однако сейчас она с трудом сдержала невольный смешок. Возлюбленного девушки звали Котом, Котиком, а это было уменьшительное от «Константин». Константином звали и Сашенькиного отца, однако он терпеть не мог, когда старые друзья называли его Котькой или Котей. И рассказывал про одного своего давнего родственника Константина Оболенского – седьмая вода на киселе, но все же Оболенский! – которого, напротив, все именовали только Котиком. Он с самого детства был дружен с нынешним императором, Николаем Александровичем, и умело вытягивал из добросердечного (иногда говорили откровеннее – слабохарактерного!) государя одно благодеяние для своей семьи за другим. Отчего-то государь ни в чем не мог старинному другу отказать, и за короткое время некогда впавшие в нищету Оболенские порядочно разжились. Оттого среди их многочисленных знакомых ходила довольно ехидная поговорка – Оболенские, мол, живут *Котиковым промыслом*.

Конечно, сплетничать об этом было неприлично, однако Саше захотелось сказать милой девушке что-нибудь приятное, ну, она и сказала:

– У вашего кавалера очень красивое имя. Моего отца тоже зовут Константином, Костей... Девушка уставилась на нее круглыми от изумления глазами:

– С чего ты взяла, что моего миленька зовут Константином? Его Петром зовут, Петенькой. Ремиз по прозвищу... А, вон что! – Девушка вдруг расхохоталась. – Ты так решила потому, что я его Котом назвала? Да нет, это не имя... Котами тех мужчин кличут, кого любят гулящие девушки и кому они деньги со своего ремесла платят. Поняла?

Сашенька уставилась на нее, чуть ли не разинув рот.

– Какие девушки? – спросила тихо.

Незнакомка хмыкнула:

– Какие, какие! Известно какие! Ну да, я гулящая. А что такого? Небось не со всяким пойду, я девушка гордая, переборчивая... конечно, тогда лишь, когда в кармане не вошь на аркане, а хоть какая-то денежка звенит. Иной раз, бывает, таково-то брюхо с голодухи подведет, что хоть с чертом рогатым завалишься, лишь бы заплатил. Ох, ох, грехи наши смертные, незамолимые! – Она проворно обмахнулась крестом и усмехнулась, глядя на окаменевшую от изумления Сашу: – Ну, чего так вылупилась? Неужто ни с одной гулящей не знакома? Да ладно, отомри, небось нас куда больше, чем тебе в голову взбрести может. У меня и мамка гуляла, и тетка, ну и я по наследственной линии пошла. Среди вашей сестры, благородной, тоже такие есть. Есть, есть, я тебе точно говорю! Только те не на углах стоят или, к примеру, в номерах да веселых домах мужчин принимают, а в церкви мясо свое за большие деньги продают старым да уродливым. Вот и вся разница. А что коты у нас есть, которые нашим девичьим доходом

живут, так разве у вас их нету? Сколько случаев знаю, когда молодой-пригожий, раскрасавец собой, еще и голубых кровей, да пообнищавший, нарочно присваивается к уродине богатой, чтоб герб свой облезлый позолотить. Тоже на женино приданое живет. Только наши коты – они честные да гордые. Они у нас деньги берут, а гонор свой в обмен не продают: мой-то кот выручку возьмет да тут же, чтоб не возомнила шибко о себе, фингалов наставит по всей роже и по всей фигуре. А ваши благородные на богатых женятся – и все, и словно померли заживо, тещь с тещей да и жена об них потом ноги вытирают, словно о тряпку какую, от бывшего гонора одна ветошь остается, а герб только и годится, что к дверям нужника его приколотить...

Она умолкла – перевести дух, – поглядела на ошеломленное Сашино лицо и засмеялась:

– Эх я тебя взяла – прямо в вилы! Ничего, не тушуйся, я ж не в обиду тебе говорю. Всяк, знаешь, себя обороняет, и у нас, у уличных, тоже своя гордость есть. А брезговать в жизни никаким человеком не след, мало ли для чего пригодится. Человеком пренебрегать – все равно что в колодезь плевать. Ты, значит, к матушке Варваре-великомученице все ж таки сходи за молебствием, а коли не поможет – сыщи меня на Рождественской улице, в номерах «Магнолия». Это за домом Храбровых, в полугоре, за квартал от Строгановской церкви. Спросишь Милку-Любку – меня там всякая собака знает. Я тебя к колдуну сведу. Ничего, никуда твой миленок не денется, вон где он у нас будет... – Девушка со странным именем Милка-Любка показала Саше стиснутый обветренный кулачок и для пущей убедительности еще и покачала им из стороны в сторону – совершенно как делала полчасика назад Клара Черкизова, говоря о том же самом человеке... – А ежели соперница есть, то мы ее со свету сведем! Как пить дать, вот те крест святой, истинный! – И Милка-Любка снова перекрестилась, но на сей раз уже совсем по-другому: истово, с поясным поклоном, оборотясь при этом в ту сторону, где находилась Варварская улица, а значит, и часовня упомянутой великомученицы. – Ну, прощай покуда, мне уж пора, вечереет, скоро клиент валом повалит. Ныне, накануне поста, всяк норовит разговеться. А мадам наша криклива, терпеть не может, когда девушки к гостям опаздывают. Храни тебя Господь!

Она отвесила Сашеньке точно такой же поясной поклон, как минутой ранее – святой мученице Варваре, и ринулась бегом через Острожную площадь. Вскоре и след ее растаял в наступающих сумерках.

\* \* \*

Шулягин, видимо, почувал в словах начальника сыскного отдела какой-то намек, потому что с надеждой поднял голову.

– Наоборот? – повторил настороженно.

– Вот именно, – кивнул Смольников. – А ну-ка, господа, выйдите за дверь, – приказал он полицейскому и фотографу. – Вы, господин Охтин, останьтесь.

Помолчал, ожидая, чтобы все вышли, и тихо, вкрадчиво спросил:

– А что, Шулягин, хотел бы ты нынешний день назад вернуть?

– Как это? – нахмурился тот непонимающе.

– Да вот мне господин Охтин говорил, ты сокрушался, мол, внутреннего голоса своего не послушался. Советовал тебе сей голос Охтину не доверяться, а ты доверился... Так вот – хочешь, я одним мановением руки так сделаю, что ты его послушаешься? То есть все будет так, как будто ты к господину Охтину не подошел, товар ему свой фальшивый, преступный не предложил, а значит, полиции не попался и арестован не был.

Охтин резко повернулся к начальнику, глянул возмущенно, однако же ничего не сказал, ни слова.

– Как это? – повторил Шулягин, совершенно растерянный.

– Ну что ты, право, словно глупый попка, долбишь: «как это?», «как это?» – сердито перебил Смольников. – Так и будет, как я сказал. Слово даю: воротись домой со всей лабораторией своей, только...

– Только – что? – вытянул шею Шулягин, отчего его длинный тонкий нос словно бы еще длиннее стал.

– Только расскажи мне, как ты в цирковых труппах в свое время состоял, с кем дружбу водил, – предложил Смольников самым невиннейшим тоном.

Охтин снова быстро глянул на своего начальника и снова промолчал. На лице у Георгия Владимировича было выражение пустейшего любопытства, не более того.

– А вам про кого из тех циркачей услышать желательно? – опасливо спросил Шулягин.

– Про тех, что и сейчас в Энске обретаются. Был ли среди них метатель ножей? – прищурясь, спросил Смольников.

– Метатель ножей? – замялся Шулягин. – Ну да, был один... Может, он и сейчас живой, а может, и помер уже, точно не скажу. Но в ту пору, когда мы знакомы были, звали его Поль Морт. Увы, доподлинное имя его мне сейчас не вспомнить, а может, я и не знал его никогда...

– Нет, человек, которого мы ищем, это не Поль Морт, – покачал головой Смольников.

– Почему? – озадачился Шулягин, уставившись на него круглыми, изумленными глазами.

– Да потому, что Морта я помню. Совсем мальчишкой был, когда его впервые в цирке увидел, потом спать не мог от восхищения: все, как он, пытался кухонные ножи кидать, да только и добился, что кухарку до смерти напугал и невзначай подвернувшемуся коту хвост к притолоке приколол. За что был порот нещадно родителем и охоту к цирковой науке утратил навечно. Впрочем, не это важно, а то, что я Морта помню. Видел его лет тридцать назад, значит, он сейчас уже перешагнул за пять десятков, а то и за шесть. Мне же другой метатель ножей нужен. Слышал небось про нападение на кассиров аверьяновского банка, которые жалованье сормовским рабочим везли?

– Да про него весь город говорит, как же не слышать, – пожал плечами Шулягин. – Вроде бы десять человек зарезали. Правда?

– Не десять, а четверых, но это тоже немало, верно? И положил их некто именно метательными ножиками. Убийца – еще молодой, совсем молодой. Но ловок и проворен, точно бес, а уж ножи из рукавов мечет – вовсе словами не описать! Истинный артист!

– Это он и есть, ваше благородие! – с горячностью воскликнул Шулягин. – Морт – истинная легенда цирка и крепок еще необычайно! Он в своем деле и впрямь артист, он так ножи мечет, что искры из глаз!

– Ну да, особенно если нож в глаз попадет, – согласился с усмешкой Смольников. – А ты откуда знаешь, что Морт еще жив, здоров и крепок? Ты ж говорил, не видал его с тех давних пор? К тому же он разве в Энске живет? Я слышал, он в Москве обретается. Или нет? Где он, Шулягин?

– Не знаю... не ведаю, – забормотал Шулягин. – Я и правда его не видел много лет и про мастерство его изъяснялся исключительно в прошедшем времени.

Охтин все внимательней присматривался к своему подопечному, в лице которого появилось что-то затравленное, но в разговор не встревал.

– Ну хорошо, а настоящее имя его как? – не отставал Смольников. – Трудно представить себе русского человека по имени Поль Морт, согласись. Это имя под стать французу.

– А может, он и есть француз? – испуганно воскликнул Шулягин. – То есть, конечно, француз! Да-да! Я припоминаю сейчас, Морт парлекал да мерсикал, словно настоящий лягушатник...

– Ты мне тут Хлестакова-то не разыгрывай! – строго поднял палец Смольников. – Ври, да не завирайся. У этого Морта плечи саженные были и рожа кирпичка просила, как у какого-нибудь владимирца, пензенца или, зачем далеко ходить, жителя Энска. Среди французов таких

нет, они все мозгляковатые, тебе под стать. Просто взял он псевдоним, как у вас, у цирковых, велось. Никакой он, конечно, не Поль, а Пашка, Павел. Так, Шулягин?

– Не ведаю сего, – задушенным голосом выговорил Шулягин.

– Павел, точно, – уверенно кивнул Смольников. – Морт, Морт... Mort по-французски значит «мертвый». Значит, фамилия у него в этом роде: Мертвяков, Смертин... Так какая, а, Шульгин?

– Великодушно извините, – пробормотал Шулягин, – не знаю, не ведаю. Как Поля Морта я его знал и думаю, что нету никого, кто мог бы сравниться с ним в метательном искусстве.

– Есть, есть... – настаивал Смольников. – Есть такой человек, но ты нам голову морочишь. А зачем, не пойму. Боишься его, что ли?

– Да не пойму я вас, господин начальник! – с нескрываемым отчаянием воскликнул Шулягин. – Вот вам крест святой, не пойму! И Господь наш всевидящий соврать не даст: не знаю я другого такого ловкача. Не знаю, клянусь! И подлинного имени Морта не знаю. Желаете, землю буду есть, что не лгу!

– Желая, – кивнул Смольников. – Желая, да только повезло тебе – земли у нас тут, в комнате, нету. И со двора не принесешь – под снегом она, земля. А то любопытно было бы поглядеть, как ты давиться стал бы. Знаешь ты все про этого Морта, да только говорить не хочешь. Или боишься? Кого ты так сильно боишься, до такой степени, что даже готов от свободы отказаться и под суд пойти за фальшивомонетничество? А знаешь ли ты, что наказание тебе может быть очень суровым? Дадут тебе срок немалый, упекут в ссылку... куда-нибудь в Нерчинск, на Амур или вовсе на райский остров Сахалин... Хочешь на Сахалин, а, Шулягин?

– Да что ж, – угрюмо пробормотал тот. – Небожь везде люди живут, если кто поумнее да подянки никому не делает...

– Подянки? – мигом насторожился Смольников. – Значит, ты остерегаешься подянку совершить?

– Да нет, это я просто так сказал, – вовсе уж понурился Шулягин. – Ради красного словца. Ничего я не знаю. И никого, никакого метателя не знаю. И про Морта не ведаю... Вы уж мне поверьте, ваше благородие! Знал бы – сказал бы, вот вам крест...

Но мордочка его побледнела, а нос уныло повис. И глаза испуганно убегали взгляда Смольникова.

– Ладно, вызывайте охрану, Охтин, – приказал Смольников. – Влеките его в узилище. И не забудьте оприходовать инструментарий. На суде предъявим. Но до суда еще есть время, Шулягин. Понял меня, а? Понял, спрашиваю?

Шулягин тяжело, протяжно вздохнул, однако ничего более не сказал. Угрюмо кивнул на прощание – и вышел за дверь в сопровождении полицейского.

Охтин и Смольников тоже стояли какое-то время молча. Потом Охтин решил спросить:

– А вы в самом деле отпустили бы его, Георгий Владимирович?

– Конечно, – тотчас кивнул начальник сыскного отдела. – Немедленно отпустил бы. Ну и что за беда? Через день-другой этот шут гороховый снова пошел бы покупателей своих поделок искать – и снова на нашего человека нарвался бы.

– Шут-то он шут... – протянул Охтин, – однако того, что мы желали услышать, не сказал. Может быть, и впрямь не знает ничего?

– Знает, знает, – махнул рукой Смольников. – Вы же видели, какая рожа у него сделалась. Знает... и боится этого человека. Оттого и бросил нам Морта, словно подачку. С перепугу! Но это он зря сделал. Морта мы найдем, не сразу, может быть, но найдем. Проверим всех Павлов, у которых фамилия по смыслу имеет отношение к смерти. Не так уж и много таких фамилий, к слову сказать. Вот мне на ум только две пришло: Мертвяков и Смертин. А тебе?

Охтин свел брови, демонстрируя усиленную мыслительную работу, но толку с этого не вышло:

– Что-то ничего в голову не идет...

– А мне идет, – деловито сказал Смольников. – Мертваго, например.

– Мертвищев? – робко предположил Охтин.

Смольников хлопнул в ладоши:

– Отлично! Ну, кто там еще?

– Трупов, а? – радостно выкрикнул Охтин. – Или Трупаков!

– Bravo! – прочувствованно сказал Смольников. – А как насчет Смертоносцева?

– Неужели и такая фамилия бывает? – с уважением пробормотал Охтин.

– В каком-нибудь романе наверняка, – предположил Смольников. – В жизни – сомнительно. Так что давайте еще думать.

Несколько мгновений оба сосредоточенно шевелили губами, но кончилось это обменом разочарованными взглядами.

– Надо адресную книгу посмотреть, что толку голову ломать, – подвел итог начальник, и подчиненный с облегчением кивнул.

– Он совершенно точно Павел, так что задача облегчается, – продолжал Смольников.

– А почему вы так уверены, что этот Морт имел отношение к нападению возле аверьяновского банка? – спросил Охтин.

– Вы разве не читали протокола осмотра места происшествия? – удивился Смольников. – Все четыре жертвы поражены ножевыми ударами, но если из трех мертвых тел убийца успел выдернуть ножи, то в плече кассира Филянчушкина один так и остался. Он очень короткий, из тех, что в рукаве легко помещаются, на рукоятке бороздки – видимо, там было крепление к какому-нибудь устройству, к резинке, может быть, которая нож придерживала до поры, а потом, будучи особенным образом оттянута, отпускала. А главное – на рукоятке выжжена литера *М*. Я слышал, у цирковых было правило метить орудия своего ремесла. Что еще может означать эта *М*, как не *Морт*?

– Не знаю, – пожал плечами Охтин. – Наверное, вы правы. Но если вы так уверены, почему спрашивали про какого-то молодого убийцу? Ведь нападающих никто не описал. Кассир, их видевший, возчик и полицейский мертвы, Филянчушкин тяжело ранен, без сознания лежит, а свидетельница вроде молчит... Или нет? Не молчит? Неужели госпожа Шатилова что-то рассказала?

– Нового ничего, ни слова, – покачал головой Смольников. – Известно только то, что удалось разобрать сквозь поток истерики, которым она нас просто захлестнула поначалу, непосредственно после нападения. Именно от нее мы и узнали, как виртуозно метал ножи этот убийца... И все. На вызовы в следственное управление она не является, от встреч отказывается. Через мужа передала записку, что больна, что ничего и никого не успела разглядеть, а что видела, позабыла со страху. Ерунда, конечно. Думаю, и видела она достаточно, и ничего не позабыла, но в самом деле очень испугана. Это по-человечески понятно, однако то, что нам ее разговорить необходимо, мне тоже ясно. Единственная ведь свидетельница, тут не до дамских страстей-ужастей. Но ничего, я надеюсь на личную встречу. Ровно через неделю у Шатиловых прием, народу всякого звана куча, я тоже приглашение получил. И если Лидия Николаевна рассчитывает на мою деликатность – что я-де постесняюсь воспользоваться служебным положением на приватном приеме, – то рассчитывает она напрасно! Я этим самым положением непременно воспользуюсь. А возвращаясь к вашему вопросу... Почему я решил, что убийца молод? Да потому, что, кроме ножа с литерой *М*, единственное вещественное доказательство – фуражка студента Коммерческого училища. Разумеется, это был не настоящий студент, а переодетый убийца, но то, что он молод, само собой понятно. Согласитесь, что престарелый господин в такой фуражке не рискнул бы показаться. Привлек бы к себе пристальное внимание. Но послушайте, Охтин. Я хочу вас привлечь в группу, которая работает по делу. Разговор с госпожой Шатиловой я на себя возьму, а вы мне Морта разыщите. Готов прямо здесь, с места

не сходя, биться об заклад, что работал около банка какой-нибудь из его учеников или адептов. Причем работал инструментом самого Морта – напоминаю про букву *М*. Вопрос, не сам ли Морт был главным организатором ограбления...

– Хорошо, будет исполнено, стану его искать, – кивнул Охтин. – Поспрашиваю своих осведомителей, а еще через какое-то время снова с Шулягиным поговорю. Это он нынче был такой норовистый, гонористый, а посидевши какое-то время в общей камере, несколько пообмякнет. Пожалее, что от вашего предложения отказался. Тут не то что свобода, тут малейшее послабление ему слаще тульского пряника покажется.

– Хорошо, действуйте, как считаете нужным, – одобрил Смольников.

В дверь постучали, и, не дожидаясь разрешения, в кабинет вбежал полицейский унтер:

– Ваше благородие, извините, я вас ищу! Вы наказывали сообщить немедленно, коли кассир Филяншкин очнется. Из больницы прислали сказать – очнулся он. В сознании! Каковы будут приказания?

– Автомобиль к подъезду, какие еще могут быть приказания? – крикнул Смольников, рванувшись к выходу.

– Георгий Владимирович, можно с вами? – умоляюще воскликнул Охтин.

– За сегодняшнего «фабриканта» вам все можно, Григорий Алексеевич! – донесся уже из коридора голос Смольникова. – Только быстро, не отставайте, никого не ждем!

\* \* \*

«Петербургские купцы и ремесленники подали в сенатскую коллегию жалобу на градоначальство, предъявляющее обременительные требования относительно вывесок – о художественности и грамотности их».

*Санкт-Петербургское телеграфное агентство*

«В киргизских степях то и дело вспыхивает чума. Первой мерой борьбы со страшной болезнью считается у нас наружное отделение зараженной местности войсками. Однако на примере маньчжурской чумы можно наблюдать несостоятельность этой меры. В Маньчжурии чумные очаги были оцеплены нашими войсками. Были поставлены цепью солдатские караулы, которым строго-настрого приказали никого не пропускать. Казалось, не только человек – заяц не может проникнуть за линию оцепления. Однако китайцы проходили. Когда же их спрашивали, как они ухитряются это делать, какой-нибудь «ходя» с самой добродушной улыбкой отвечал: «Моя давал солдату двадцать копеек...»

*«День»*

«ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШИЙ УКАЗ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ

Снисходя к всеподданнейшему ходатайству свиты Нашей генерал-майора князя Феликса Феликсовича Юсупова, графа Сумарокова-Эльстон, всемилостивейше соизволяем на представление сыну его, графу Феликсу Феликсовичу Сумарокову-Эльстон, ныне же именоваться потомственным князем Юсуповым графом Сумароковым-Эльстон и пользоваться соединенным гербом сих фамилий. Правительствующий сенат к исполнению сего не оставит учинить надлежащее распоряжение».

*Санкт-Петербургское телеграфное агентство*

\* \* \*

Сашенька еще какое-то время постояла в своем укрытии, растерянно хлопая глазами. Как хорошо, что здесь такой укромный уголок, никаких прохожих, никто не мог видеть ее случайной собеседницы. Хоть отец и говорит, что надо быть приветливой со всяким представителем народа, а тетя Оля беспрестанно долбит, что хорошо воспитанным и вполне светским человеком может считаться лишь тот, кто в обращении не делает разницы между нищенкой и императрицей, Сашенька чувствовала себя неуютно. Ладно, нищенка нищенкой, а еще неизвестно, смогла бы тетя Оля быть светской дамой, встретиться она со словоохотливой Милкой-Любкой! А, между прочим, девушка эта совершенно не похожа на падшую особу. Милая такая и одета скромно, очень просто принять ее за горничную из небогатого, но приличного дома или, скажем, за ученицу из швейной мастерской, которая бежит с готовым платьем к богатой заказчице. Впрочем, конечно, неизвестно, как она одевается там, в этой своей «Магнолии»: может, прическа у нее вся утыкала крашеными перьями, на платье вырез до пупа, а на ногах ажурные черные чулочки! Ходят также сплетни, что девушки в тех нумерах вовсе не одеваются, так и щеголяют день-деньской совершенно голые, даже срам не прикрывают...

Сплетни, конечно. Теперь не лето, нагишом ходить – простынешь! Разве что печи в «Магнолии» хороши и греют жарко, так что и не хочешь, а разденешься?

Однако и везет же Сашеньке сегодня на неожиданности! То злобные поучения Клары Черкизовой, то откровения Милки-Любки... Но если Клара ее довела до безнадежных слез, то Милка-Любка приободрила. И вселила некоторую надежду. В самом деле, кто мешает Саше прямо сейчас пойти в укромную Варваринскую часовенку и поставить там сначала свечку, а потом заказать молебен во здравие раба Божьего Игоря?

Хотя нет, в святцах такого имени нету, крестильное имя – Егорий. Егорий Вознесенский... Смешно? Сашенька слабо улыбнулась, потом вспомнила любимые черные глаза и поняла, что ей ничуть не смешно. Ничутьточки!

Конечно, она пойдет в часовню. Прямо сейчас. Надо только написать имя Игоря на бумажке и отдать ее потом служительнице, чтоб, не дай бог, не забыли молебен отслужить. Но на чем бы написать? Из бумаги у Сашеньки только злосчастная ее любовная записка... хотя нет, что-то зашелестело в кармане шубки... А, это записка тети Оли! Она еще утром написала ее, наказав племяннице зайти в гастрономический магазин на Большой Покровской. Надо купить четыре вида ее любимого кофе – мокко, арабийский, ливанский и мартиник, халвы, зефиру, конфет разных, шоколаду, птифуров... Ну да, тетя Оля всегда накануне Масленицы устраивает кофе для своих бывших гимназических подружек – для тех, кто еще живет в Энске. Обычно тетя Оля покупает все это сама, но сегодня она неважно себя чувствует, вот и дала список племяннице. Кухарке Дане столь возвышенная миссия не могла быть доверена. Да и вообще, в такие магазины, как Большой гастрономический, принято не прислугу посылать, а ходить самим. И Рукавишниковы, известные богачи, по сравнению с которыми даже состояние Аверьяновых кажется мелочью, появляются там собственнлично или уж, на самый крайний случай, телефонируют управляющему. Конечно, Сашенька потом не потащится домой, обвешанная сверточками и коробочками. Все ею купленное будет доставлено с особым рассылным прямо к торжественному столу. Главное – вовремя сделать заказ.

Ага, убористым, аккуратненьким, красивеньким тети-Олиным почерком (мокко, арабийский, ливанский, мартиник, пьяная вишня etc.) исписано ровно пол-листа, вторая половина чистая. Места более чем достаточно. Кажется, где-то в кармане завалился огрызок карандаша. Так, вот он. Саша прислонилась к стене и сколь могла разборчиво – почерк у нее и так не бог весть какой, а тут еще писать неудобно – нацарапала: «Во здравие раба Божьего Егория

молебствие». Положила листочки в карман юбки и, перекрестившись, выскочила из-за угла Народного дома, мечтая сейчас только об одном: не наткнуться на каких-нибудь знакомых.

На счастье, прохожих было мало, да и то все они старательно прятали лица от встречного ветра в воротники, не обращая никакого внимания на Сашеньку. Ей сейчас дуло в спину, подгоняло, и потому до часовенки она добежала за три минуты, никак не более.

Перекрестилась у дверей на иконку, осторожно вошла. В часовне было полутемно, фигура монахини в черной косынке, туго схваченной под подбородком, горбилась в углу на табурете. На пюпитре перед ней лежал молитвенник, но матушка, кажется, дремала, потому что резко вскинулась, когда вошла Сашенька. Однако спина ее не выпрямилась. Ой, да она, бедняжка, и в самом деле горбатая!

– Здравствуйте, – прошелестела Саша, снова крестясь и чувствуя себя отчего-то виноватой, как всегда бывало с ней, когда встречалась с убогими. – Мне бы свечку поставить и молебен заказать, можно?

– Отчего же нет? – так же тихо ответила монахиня. – Свечечку какую желаете, большую или маленькую?

Этого Милка-Любка не сказала, однако Саше отчего-то показалось неуместным ставить слишком уж большую свечу. Такие ставят лишь купцы, кичась своим достатком, хотя Бог и так обо всем знает. Ну и пусть ставят хоть пудовые, а любовь – любовь дело тонкое, деликатное. К тому же у нее не столь уж много денег, и хоть в гастрономическом на Большой Покровке при доставке товара на дом денег вперед не берут, их дают рассыльному уже потом, при получении товара, однако же услуги рассыльного, упаковка и доставка оплачиваются сразу. Как бы не попасть впросак!

– Копеешную, – скромно попросила Саша, но тотчас решила, что слишком уж скаредничать не стоит. – Нет, лучше за три копейки. И еще вот за молебен двугривенный примите.

Она бы и не двадцать копеек, а двадцать рублей отдала, но все, больше денег у нее не было.

– Вы сами возьмите свечечку, барышня, – сказала монахиня, которая угрелась на своем деревянном стуле, прикрытом плюшевой, узорно расшитой, уютной и красивой накидкой, и ленилась вставать. – Или вам сдача надобна?

– Нет, сдачи не нужно.

– Тогда вы денежку на столик положите и бумажку с именем для молебна там же оставьте. Благодарствую вам. – Монахиня перелистнула страницу молитвенника и что-то забубнила, еще пуще сгорбившись.

Сашенька прислушалась: известно ведь, что нет лучше гадания, чем на книге, а на молитвенной книге – еще паче того. Какая фраза услышится – то и станет с тобой в самое ближайшее время. То же самое, если загадать желание: книга подскажет, сбудется оно ли нет.

«Полюбит ли меня Игорь Вознесенский?» – немедленно задала вопрос Сашенька и принялась изо всех сил вслушиваться. Но, на беду, монахиня бормотала себе под нос, и как ни напрягала Сашенька слух, до нее только раз долетели слова из канона Андрея Критского:

– Конец близок!

«Ерунда какая, – разочарованно подумала Сашенька, кладя на столик свернутую квадратиком бумажку с именем Игоря и придавливая ее столбиком гривенников. – Конечно, ерунда! И это никакой не ответ на мой вопрос. Я хотела услышать просто «да» или «нет», а тут какая-то философия!»

На самом деле ответ слишком уж напоминал отрицательный («Конец близок!»), а поскольку Сашенька очень хорошо умела не слышать то, чего слышать не хотела, она и назвала долетевшую до нее фразу ерундой. Кстати, это умение она унаследовала от отца, который просто-таки виртуозно воспринимал мир таким, каким желал его видеть. Удобное свойство природы, очень удобное. Жаль только, что мир нипочем не хочет вписываться в прокрустово

ложе наших чаяний и знай выпирает из него, да еще и громко скрипит негодуяще при этом, а иногда и тумачком награждать норовит...

Исполненное надежды настроение Сашеньки было все-таки слегка подпорчено. Она торопливо поставила свечку перед образом святой, пробормотала самодельную молитовку, почти не размыкая губ, чтобы, храни Боже, никто не подслушал: «Матушка Варвара-великомученица, сделай так, чтобы Игорь Вознесенский меня по гроб жизни полюбил, а от всех прочих женщин, в первую очередь от Клары Черкизовой, отвернулся с отвращением!» – перекрестилась и выскочила из теплого, пропахшего ладаном и свечным воском закутка часовни.

Оборачиваясь и снова крестясь – теперь на купол, она изо всех сил старалась воскресить в душе то, прежнее, светлое, особенное состояние радостной надежды, с каким только что бежала от Острожной площади, но никак не получалось. Возможно, потому, что ветер резко переменялся и вместо того, чтобы дуть в спину, снова бил в лицо. В Энске такие фокусы ветром сплошь и рядом выделяются: он кружит, кружит в лабиринте кривых улочек, закруживается да и перестает соображать, куда дул только что и куда надо дуть теперь.

Заслоня ладонью лицо, Сашенька свернула в один из Ошарских проулков и совсем скоро выбежала на Черный пруд. На продутом катке (том самом, куда когда-то влекла Митю Аксакова *неведомая сила*) уныло, одиноко мотался какой-то гимназистик в шинели и башлыке. Саша издали глянула, подумала: может, там братец Шурка? Но нет, мальчишка был еще ниже ростом, чем мелконький Шурик, и явно не старше пятого класса.

По отлогой, но ухабистой, в разьеженных колдобинах Осыпной улице Сашенька, задыхаясь от ветра и скользя, поднялась на Покровку – рядом с желто-белым, стройным, нарядным зданием Дворянского собрания, которое она очень любила. Свернула наискосок налево, мимо Лыковой дамбы. Здесь, в длинном, строгом сером доме, размещалось множество магазинов и контор, в том числе – главный энский гастрономический магазин, имевший прямые поставки не только из обеих столиц, но и из-за границы. Конфеты там продавались на любой вкус! Этим он выгодно отличался, к примеру, от столичных магазинов, которые по большей части продавали продукцию одной фирмы, и Сашенька, как ни была занята заботами своего измученного сердца, невольно залюбовалась на нарядную витрину.

Да уж, чего тут только не было... Если свежими, едва испеченными пирожными, особенно эклерами и песочными, а тем паче – безе, магазин уступал, к примеру, аверьяновской кондитерской (все же своей пекарни при нем не было, приходилось покупать у других), то выбор конфетных коробок, а также печенья и вафель мог удовлетворить самого разборчивого москвича или петербуржца, завсегдатая изобильных елисеевских магазинов. Воздушная шоколадная соломка от Крафта; абрикосовская сухая пастила; белые с золотом коробки любимого всей Россией «поковского» шоколада с обязательной бутылочкой рома, закупоренной сахарной пробкой, одетой в золотой колпачок, и с треугольничком засахаренного ананаса на кружевной бумажке; и серебряные французские бонбоньерки с прелестными картинками в стиле знаменитого Альфонса Мухи... Были здесь белоснежные шарики клюквы в сахарной пудре; уютно уложенные в коробки в виде спящей кошки шоколадные мышки с розовым и голубым кремом; апельсины с дольками из оранжевого мармелада, украшенные сверху жесткими зелеными листиками; тающие во рту, как мечта, нежные конфеты «лоби-тоби», пьяные вишни в круглых, узорчатых коробках; печенье «Мария», «Альберт», «Тю-тю», «Олли», «Князь Игорь»; вафли– пралине и «Хоровод»; шоколад «Триумф» и «Жорж» производства знаменитой фабрики «Жорж Борман» (простонародье дразнилось: «Жорж Борман – нос оторван!», а заметив у какого-нибудь богатенького гимназистика в кармане растаявшую шоколадку, присовокупляло еще пуще: «Жорж Борман наклал в карман!»)

Поглядев на пьяные вишни, Сашенька, доселе стоявшая, словно зачарованная, около прилавка, поскорей отошла от него. Она очень любила вишни, однако с ними было связано одно воспоминание трехлетней давности, которое враз и смешило ее, и донельзя расстраивало.

Отец и тетя Оля уехали тогда на дачу Аверьяновых, где отмечали день ангела Игнатия Тихоновича, а детей не взяли. Нет, они не были наказаны, но именно в тот день в городе шла одна-единственная гастроль знаменитого клоуна и дрессировщика Анатолия Дурова. Он пользовался бешеной популярностью, и не только за свои неоспоримые таланты, но и за политический эпатаж. Еще в 1905 году Дуров едва не угодил в тюрьму за смелую шутку. В каком-то представлении он ходил по арене, бросая на песок рубль, пиная его, поднимая и бросая снова. Другой клоун – в одежде городского – подошел и спросил:

– Ты что делаешь, голубчик?

– Дурака валяю, – ответил Дуров как ни в чем не бывало.

Несколько мгновений в зале царил тишина, потом до зрителей разом дошло, что имелось в виду: на рубле, который Дуров и впрямь валял как хотел, был отчеканен профиль государя императора, а отношение к этой августейшей персоне в 1905-м было понятно какое. Плевое, иначе не скажешь! Впрочем, после сей репризы Дурову на некоторое время запретили появляться на арене, но потом опала была снята и он приехал в Энгельс на очередную гастроль.

Поскольку она была единственная, на семейном совете у Русановых было решено, что взрослые едут к Аверьяновым, а дети, чтобы не мучиться от ненужной светскости, идут в цирк. Сами! Распорядительницей финансов была назначена Сашенька – как старшая.

Она бы до сих пор не могла объяснить, как и почему Шурка искусил ее по пути в цирк – а он находился внизу, в Канавине, близ ярмарочных рядов! – заглянуть в гастрономический магазин. Конечно, тут глаза у него немедля разбежались, он прилип к витрине и, проглотив порядочное количество слюны, умильным голосом попросил сестру купить фунт пьяных вишен... Или хотя бы полфунтика!

– Мы же хотели сахарной ваты и рогаликов в цирке взять, у разносчиков, – напомнила благоразумная Сашенька.

– А мы сейчас поедем пьяной вишни, а потом ваты и рогаликов, – с горящими от жадности глазами сказал Шурка.

– Ты что? – удивилась Сашенька. – Нам тогда денег может не хватить. Еще ведь и на извозчике туда и обратно ехать, тетя Оля наказала, чтобы непременно на извозчике в цирк и из цирка, чтобы не толкаться в трамвае.

– Тете Оле можно и соврать, она ведь, бедняжка, доверчива, как Отелло, – небрежно отмахнулся Шурка, в первый раз употребив свое знаменитое выражение, а также впервые дав понять, что очень реально смотрит на жизнь – куда реальной, чем, к примеру, она, старшая сестра. – А денег у тебя не меньше рубля, на все хватит – и на вишни, и на прочее.

– Не хватит! – уперлась Сашенька. – Тем более что тетя Оля непременно потребует сдачу. Ты что, ее не знаешь?

Конечно, проще было внимательно посмотреть на цены и все просчитать в уме, авось в самом деле хватит денег, однако в Сашеньку словно бес вселился, да и, честно говоря, с математикой у нее всегда было туговато...

– Хватит! – упорствовал Шурка.

– Нет, не хватит! – злилась Сашенька. – Пошли отсюда.

– Ну, Сашенька, ну, купи вишни... – заканючил Шурка. – Или я тебе не песик-братик?

Перед этими словами Саша всегда становилась бессильна. Это были слова из сказки братьев Гримм: в сказке собачка и воробей ели из одной миски, и воробей называл собачку «песик-братик». В минуты особой сестринской любви Сашенька так и звала Шурика. Ну да, она и правда очень любила брата, но тут жадность непонятная обуяла, что ты будешь делать!

– Ну что ж, – сказал наконец Шурка, взглядевшись в надутое, упрямое лицо сестры, – не хочешь – как хочешь. Пошли, коли так настаиваешь.

Обрадованная Сашенька рванулась к выходу, однако у дверей что-то ее словно толкнуло – она обернулась и увидела Шурку стоящим у кассы. Миловидная, пухленькая барышня в

кружевной наколке-короне била проворными пальчиками по кнопкам кассы, а «песик-братик» со своей обаятельной улыбкой, против которой, знала Сашенька, не мог устоять ни старый, ни малый, диктовал ей:

– Вафли-пralине – четверть фунта, «лоби-тоби» – столько же и еще полфунта вишни пьяной.

«Ты с ума сошел!» – чуть не крикнула Сашенька, однако опоздала: кассирша уже крутанула ручку сбоку аппарата и выбила чек. Протянула испещренную фиолетовыми значками узкую бумажную ленту Шурику и доверчиво улыбнулась, ожидая, что он сейчас достанет из кармана требуемые восемьдесят копеек.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.